

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Петр Чаадаев

Письма

А. С. Пушкину

Мое пламеннейшее желание, друг мой, – видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительного зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя остановленным в своем движении вперед; говоришь себе, зачем этот человек мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мной всякий раз, как я думаю о вас, а думаю я о вас столь часто, что совсем измучился. Не мешайте же мне идти, прошу вас. Если у вас не хватает терпения, чтоб научиться тому, что происходит на белом свете, то погрузитесь в себя и извлеките из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг. Последнее время стали везде читать по-русски; вы знаете, что г. Булгарин переведен[1 – Вероятно, речь идет о французском переводе романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин»: *Boulgarin F. Ivan Wyjighine ou le Gilblas russe. Paris, 1829* («Иван Выжигин, или Русский Жильблас»)] и поставлен рядом с г. де Жуи[2 – французский писатель Виктор Жозеф Жуи был широко известен как автор книг «L'hermite de la Chaussée d'Antin» («Отшельник с улицы Дантен») и «Les Hermites en prison» («Отшельники в тюрьме»), изданных соответственно в 1812 и 1813 гг.]; что касается вас, то нет ни одной книжки журнала, где бы не шла речь о вас; я нахожу имя моего друга Гульянова[3 – ...моего приятеля Гульянова... – Чаадаев был дружен с дипломатом и ученым-египтологом Иваном Александровичем Гульяновым, помогавшим ему в затруднительных жизненных обстоятельствах конца 20-х начала 30-х гг. Возможно, не без помощи Чаадаева познакомился с этим ученым, занимавшимся дешифровкой иероглифов, и Пушкин, на одном из рисунков которого изображена египетская пирамида с надписью Гульянова: «Начертано поэтом Пушкиным во время разговора, который я имел с ним сегодня о моих трудах вообще и об иероглифических знаках в частности. Москва 13/25 декабря 1831»], с уважением упомянутое в толстом томе, и знаменитый Клапрот[4 – ...знаменитый Клапрот... – немецкий ориенталист.] присуждает ему египетский венец; по-видимому, он потряс пирамиды в их основаниях. Видите, что могли бы сделать вы для своей славы. Обратитесь с воплем к небу, – оно ответит вам.

Я говорю вам все это, как вы видите, по поводу книги, которую вам посылаю[5 – ...книги, которую вам посылаю... – Скорее всего, речь идет о двухтомном сочинении французского писателя Фредерика Ансильона «*Pensees sur l'homme, ses rapports et ses intere*» (Berlin, 1829) («Размышления о человеке, его отношениях и интересах»), испещренном карандашными пометами отправителя и сохранившемся в библиотеке Пушкина. Чаадаеву, во многом разделявшему мысли автора, хотелось, чтобы Пушкина заинтересовали рассуждения Ансильона о «философической вере», о слиянии религии, поэзии и социальной истории, о необходимом совершенствовании человеческой природы. Чаадаев, рассчитывавший на мощь поэтического таланта Пушкина в распространении своей «одной мысли», стремился знакомить его не только с «идеями века», но и с собственными взглядами на проблемы художественного творчества, о чем свидетельствует запись на форзаце посылаемой книги: «Мозг поэта построен иначе, не в смысле образования идей, но в смысле их выражения. Ведь не мысль делает человека поэтом, а ее выражение. Поэтическое вдохновение – вдохновение словом, а не мыслью. Поэтический язык – сама поэзия. Разве есть поэты в прозе... Только французы, такой несомненно прозаический народ, могли вообразить, что во Франции есть поэты. Верно, что их поэты – прозаики, но не... что их произведения поэтичны. Говорят, образ,

образ. Но образ – это материал поэзии, а не поэзия; если он не выражен поэтически, это просто геометрическая фигура и ничего более.]. Так как в ней всего понемножку, то, быть может, она пробудит в вас несколько хороших мыслей. Будьте здоровы, мой друг. Говорю вам, как некогда Магомет говорил своим арабам, – о, если б вы знали!

1831

А. С. Пушкину

Что же, мой друг, что случилось с моей рукописью?[б – Уезжая из Москвы в середине мая 1831 г., Пушкин взял с собою часть философических писем (шестое и седьмое), чтобы напечатать их в Петербурге с помощью товарища министра народного просвещения Д.Н. Блудова и издателя Ф.М. Беллизара. Однако сделать это не удалось.] От вас нет вестей с самого дня вашего отъезда. Сначала я колебался писать вам по этому поводу, желая, по своему обыкновению, дать времени сделать свое дело; но, подумавши, я нашел, что на этот раз дело обстоит иначе. Я окончил, мой друг, все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать: мне не терпится иметь все это под рукою. Постарайтесь поэтому, прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффekte, но в эффekte полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни – это довершить эту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие.

Это несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами. Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого впоследствии вышло бы нечто полезное и для нас, и для других. Эти мысли пришли мне снова в голову с тех пор, как я бываю иногда, угадайте где? – в Английском клубе[7 – Английский клуб. – Его открытие в последней четверти XVIII в. явилось одним из подражательных заимствований европейских форм социального быта в послепетровскую эпоху. Хотя в уставе, согласно которому число членов клуба первоначально ограничивалось четырьмястами, а впоследствии увеличилось до шестисот, не оговаривались никакие сословные ограничения, он состоял из представителей родовой или чиновной знати, а также людей со средствами и положением в образованном обществе. Здесь имелись богатая библиотека, журнальные и газетные комнаты, бильярдные, столовые, где члены клуба отдыхали, играли в карты, обсуждали политические новости. Еще Н.М. Карамзин в «Записке о достопримечательностях Москвы» отмечал значение клуба как барометра социальных убеждений: «Надобно ехать в Английский клуб, чтобы узнать общественное мнение, как судят москвичи. У них есть какие-то неизвестные правила, но все в пользу самодержавия: якобинца выгнали бы из Английского клуба». По свидетельству П.И. Бартенева, сам Николай I «иной раз справлялся, что говорят о той или другой правительственной мере в Московском Английском клубе».]. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там; я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колоннад, в тени этих прекрасных деревьев; сила излияния наших умов не замедлила бы сама собой проявиться. Мне нередко приходилось испытывать нечто подобное.

Будьте здоровы, мой друг. Пишите мне по-русски; вам не следует говорить на ином языке, кроме языка вашего призвания. Жду от вас милого и длинного письма; говорите мне о всем, что вам вздумается: все, что идет от вас, будет мне интересно. Нам надо только разойтись; я уверен, что мы найдем тысячу вещей сказать друг другу. Ваш и искренно ваш всей душою. Чаадаев.

17 июня

А. С. Пушкину

Дорогой друг, я писал вам, прося вернуть мою рукопись; я жду ответа. Признаюсь вам, что мне не терпится получить ее обратно; пришлите мне ее,

Чаадаев П. письма filosoff.org

пожалуйста, без промедления. У меня есть основания думать, что я могу ее использовать немедленно и выпустить ее в свет вместе с остальными моими писаниями.

Неужели вы не получили моего письма? Ввиду постигшего нас великого бедствия[8 – Ввиду постигшего нас великого бедствия... – речь идет об эпидемии холеры.] это не представляется невозможным. Говорят, что Царское Село еще не затронуто. Мне не нужно говорить вам, как я был счастлив узнать это. Простите мне, друг мой, что я занимаю вас собою в такую минуту, когда ангел смерти столь ужасно носится над местностью, где вы живете[9 – Также имеется в виду эпидемия холеры.]. Я бы так не поступил, если бы вы жили в самом Петербурге; но уверенность в безопасности, которой вы еще пользуетесь там, где вы находитесь, придала мне смелости написать вам.

Как мне было бы приятно, мой друг, если бы в ответ на это письмо вы сообщили мне подробности о себе и не оставляли меня без вестей все время, пока у вас будет продолжаться эпидемия. Могу ли я рассчитывать на это? Будьте здоровы. Шлю непрестанные мольбы о вашем благосостоянии и обнимаю вас со всей нежностью. Пишите мне, прошу вас. Ваш верный Чаадаев.

7 июля 1831

А. С. Пушкину

Ну что же, мой друг, куда вы девали мою рукопись? Холера ее забрала, что ли[10 – Пушкин несколько раз пытался вернуть рукопись автору, но посылку не принимали на почте из-за холерной эпидемии. Возможно, ему удалось ее отправить в конце августа или в сентябре.]? Но слышно, что холера к вам не заходила. Может быть, она сбежала куда-нибудь? Но, в последнем случае, сообщите мне, пожалуйста, хоть что-нибудь об этом. С большой радостью увидел я вновь ваш почерк. Он напомнил мне время, по правде сказать немногого стоившее[11 – ...время... не многого стоившее... – период увлечения либеральными идеями в конце 10-х – начале 20-х гг.], но когда была еще надежда; великие разочарования еще не наступали тогда. Вы, конечно, понимаете, что я говорю о себе; но и для вас, думается мне, было некоторое преимущество в том, что еще не все реальности были исчерпаны вами. Отрадными и блестящими были эти ваши реальности, мой друг; но все же есть ли между ними такие, которые сравнились бы с ложными ожиданиями, обманчивыми предчувствиями, лживыми грезами счастливого возраста неведения?

Вам хочется потолковать, говорите вы: потолкуем. Но берегитесь, я не в веселом настроении; а вы, вы нервны. Да притом о чем мы с вами будем толковать? У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверно будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам. Если бы вы хоть подсказали мне какие-нибудь мысли из вашего мира, если бы вы вызвали меня! Но вы хотите, чтоб я начал говорить первый, ну что ж; но еще раз, берегите свои нервы!

Итак, вот что я вам скажу. Заметили ли вы, что происходит нечто необычное в недрах морального мира, нечто подобное тому, что происходит, говорят, в недрах мира физического? Скажите же мне, прошу вас, как это отзывается на вас? Что меня касается, то мне сдается, что это готовый материал для поэзии, – этот великий переворот в вещах; вы не можете остаться безучастным к нему, тем более что эгоизм поэзии найдет в нем, как мне кажется, богатую пищу. Разве есть какая-либо возможность не быть затронутым в задушевнейших своих чувствах среди этого всеобщего столкновения всех начал человеческой природы! Мне пришлось видеть недавно письмо вашего друга, великого поэта[12 – ...великого поэта... – вероятно, Жуковского.]: это – такая беспечность и веселие, что страх берет. Можете ли вы объяснить мне, как подобный человек, знакомый некогда с печалью всех вещей, не испытывает ныне ни малейшего чувства горя перед гибелью целого мира? Ибо взгляните, мой друг: разве не воистину некий мир погибает и разве для того, кто не обладает предчувствием нового мира, имеющего возникнуть на месте старого, здесь может быть что-либо, кроме надвигающейся ужасной гибели? Неужели и у вас не найдется чувства, мысли, обращенной к этому? Я убежден, что это чувство и эта мысль, неведомо для вас, тлеют где-нибудь в глубинах вашей души; только они не проявляются вовне, они погребены, по всей вероятности; они под кучей старых мыслей, привычек, условностей, приличий, которыми, что бы вы ни говорили, неизбежно пропитан каждый поэт, хотя бы он и принимал против этого всякие

меры, ибо, друг мой, начиная с индуса Вальмики, певца «Рамаяны»[13 – «Рамаяна» – древнеиндийская эпическая поэма, созданная около IV в. до н. э. В окончательном виде, дополненная и частично модифицированная в традиции певцов-сказителей, сложилась ко II в.], и грека Орфея до шотландца Байрона всякий поэт принужден был доселе повторять одно и то же, в каком бы месте света он ни пел.

О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все силы вашего поэтического существа! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы и вы дали нам услышать когда-нибудь одну из тех песней, какие требует век. Как тогда все, что теперь бесследно для вашего ума проходит перед вами, тотчас поразило бы вас! Как все приняло бы новый облик в ваших глазах!

А в ожидании этого все же потолкуем. Еще недавно, с год тому назад, мир жил в полном спокойствии за свое настоящее и будущее и в молчании проверял свое прошлое, поучаясь на нем. Ум возрождался в мире, человеческая память обновлялась, мнения сглаживались, страсть была подавлена, гнев не находил себе пищи, тщеславие находило себе удовлетворение в прекрасных трудах; все людские потребности ограничивались мало-помалу кругом умственной деятельности, и все интересы людей сводились мало-помалу к единственному интересу прогресса вселенского разума. Во мне это было верой, было легковерием бесконечным. В этом счастливом покое мира, в этом будущем я находил мой покой, мое будущее. И вдруг нагрянула глупость человека[14 – ...вдруг нагрянула глупость человека – французского короля Карла X, политика которого послужила одной из причин июльской революции 1830 года.], одного из тех людей, которые бывают призваны, без их согласия, к управлению людскими делами. И мир, безопасность, будущее, – все сразу обратилось в ничто. Подумайте только: не какое-либо из тех великих событий, которые ниспровергают царства и несут гибель народам, а нелепая глупость одного человека сделала все это! В вашем вихре вы не могли почувствовать этого, как я; это вполне понятно. Но статочное ли дело, чтобы это небывалое и ужасное событие, несущее на себе столь явную печать провидения, казалось вам самой обыкновенной прозой или самое большее дидактической поэзией, вроде какого-нибудь лиссабонского землетрясения, с которым вам нечего было бы делать? Это невозможно! Что до меня, у меня навертываются слезы на глазах, когда я вижу это необъятное злополучие старого, моего старого общества; это всеобщее бедствие, столь непредвиденно постигшее мою Европу, удвоило мое собственное бедствие. И тем не менее да, из этого воспоследует одно только добро; я в этом вполне уверен, и мне служит утешением видеть, что я не один не теряю надежды на то, что разум образумится. Но как совершится этот возврат, когда? Будет ли в этом посредником какой-либо могучий дух, облеченный провидением на чрезвычайное посланничество для совершения этого дела, или это будет следствием ряда событий, вызванных провидением для наставления рода человеческого? Не знаю.

Но смутное сознание говорит мне, что скоро придет человек, имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых порах это будет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует Сен-Симон в Париже[15 – Религия в учении французского утописта-социалиста Сен-Симона становилась инструментом в поступательном развитии общественного прогресса.], или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем[16 – Имеется в виду религиозное течение, возглавляемое в начале 30-х гг. XIX в. Ламенне, в котором традиционное католичество соединилось с идеями всеобщего равенства.]. Почему бы и не так? Не все ли равно, так или иначе будет пущено в ход движение, имеющее завершить судьбы рода человеческого? Многие из предшествовавшего той великой минуте, когда добрая весть была возвещена во дни оны посланником божиим, имело своим предназначением приготовить вселенную; многое также несомненно совершится и в наши дни с подобной же целью, прежде чем новая добрая весть будет нам принесена с небес. Будем ждать.

Говорят, ходят толки о всеобщей войне? я утверждаю, что ничего подобного не будет. Нет, мой друг, пути крови не суть пути провидения. Как люди ни глупы, они не станут раздирать друг друга, как звери: последний поток крови пролит, и теперь, в тот час, когда я пишу вам, источник ее, слава богу, иссяк.

Спора нет, бури и бедствия еще грозят нам; но уже не из слез народов возникнут те блага, которые им суждено получить; отныне будут лишь

Чаадаев П. письма filosoff.org

случайные войны, несколько бессмысленных и смешных войн, чтобы отбить окончательно у людей охоту к разрушениям и убийствам. Заметили ли вы, что только что произошло во Франции? Разве люди не вбили себе в голову, что она намерена поджечь мир с четырех концов? И что же, ничего подобного; а что произошло? Любителей славы, захватов подняли на смех; люди мира и разума восторжествовали; старые фразы, которые еще недавно так отменно звучали для французских ушей, уже не находят себе отклика.

Отклик! Кстати, по его поводу. Конечно, весьма счастливо, что г-да Ламарк и его сотоварищи не находят отклика во Франции; но я-то найду ли его, мой друг, в вашей душе? Посмотрим. Однако при одной возможности сомнения в этом у меня падает из рук перо. От вас будет зависеть, чтобы я поднял его; немного сочувствия в вашем следующем письме. Г-н Нащокин говорил мне, что вы изумительно ленивы. Поройтесь немного в вашей голове и в особенности в вашем сердце, которое так горячо бьется, когда хочет этого: вы найдете там больше предметов для переписки, чем нам может понадобиться на весь остаток наших дней. Прощайте, дорогой и старый друг. А что ж моя рукопись? Я чуть было не забыл ее. Вы не забудьте о ней, прошу вас. Чаадаев.

18 сентября

Мне говорят, что вы назначены, или еще каким-то способом поручено вам написать историю Петра Великого[17 - В сентябре 1831 г. Пушкин писал П.В. Нащокину, что царь позволил ему «рыться в архивах для составления Истории Петра I».]? В добрый час! Поздравляю вас от всего сердца.

Подожду, прежде чем сказать вам что-либо по этому поводу, чтобы вы сами заговорили со мной об этом. Итак, прощайте.

Я только что увидел два ваших стихотворения[18 - «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»]. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы - национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. Мы поговорим об этом другой раз, и подробно. Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране. Да, мой друг, пишите историю Петра Великого. Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал... малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь ее... наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант...[19 - Подлинник оборван.] может быть, слишком поспешный. Подождем.

1832

Шеллингу[20 - Чаадаев познакомился с Шеллингом в августе 1825 г. в Карлсбаде и вместе с А. И. Тургеневым и Тютчевым оказался в числе первых представителей русской культуры, с которых началось и через которых осуществлялось более тесное общение немецкого философа с поклонниками из России. В конце 20-х - начале 30-х гг. в Мюнхене, а позднее в Берлине Шеллинга посетят братья Киреевские, М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Н.А. Рожалин, В.П. Титов, Н.А. Мельгунов, В.Ф. Одоевский, А.С. Хомяков. Среди особо заинтересовавших его почитателей он назовет и Чаадаева, считая его одним из наиболее прекрасных людей, когда-либо встреченных им в жизни. И хотя после карлсбадских встреч они более не виделись, Чаадаев произвел сильное впечатление на Шеллинга сходным умонастроением. Чаадаев же с заинтересованным сочувствием следил за эволюцией мысли Шеллинга от «философии тождества» к «философии мифологии и откровения», или «положительной философии», призванной соединить веру и знание, познать самораскрытие бога через «мировые эпохи» исторического процесса.]

1832. Москва

Милостивый государь.

Не знаю, помните ли вы молодого человека, русского по национальности,

которого вы видели в Карлсбаде в 1825 году? Он имел преимущество часто беседовать с вами о философских предметах, и вы сделали ему честь сказать, что с удовольствием делитесь с ним вашими мыслями. Вы сказали ему, между прочим, что по некоторым пунктам вы изменили свои воззрения, и вы посоветовали ему подождать выхода нового произведения, которым вы тогда были заняты, прежде чем знакомиться с вашей философией. Это произведение не появилось, и этот молодой человек был я. В ожидании я прочел, милостивый государь, все ваши произведения. Сказать, что я поднялся по вашим стопам на те высоты, куда в таком прекрасном порыве вознес вас ваш гений, было бы, может быть, самонадеянностью с моей стороны; помнится, вы находили, что г. Кузен плохо вас понял; и было бы слишком смело со стороны человека, неизвестного в европейском мире, притязать на превосходство перед столь крупной литературной известностью; но мне будет позволено, думаю я, сказать вам, что изучение ваших произведений открыло мне новый мир; что при свете вашего разума мне приоткрылись в царстве мыслей такие области, которые дотопе были для меня совершенно закрытыми; что это изучение было для меня источником плодотворных и чарующих размышлений; мне будет позволено сказать вам еще и то, что, хотя и следуя за вами по вашим возвышенным путям, мне часто доводилось приходить в конце концов не туда, куда приходили вы. В настоящее время я узнал от одного из своих друзей, который провел недавно несколько дней в ваших местах, что вы преподаете философию откровения. Публичный курс, который вы читаете в настоящее время, милостивый государь, является, думается мне, развитием той мысли, которая зарождалась в вашем уме, когда я вас видел в Карлсбаде. Мне неизвестно, что представляет из себя то учение, которое вы излагаете в данное время вашим слушателям, хотя, признаюсь, при чтении вас у меня зачастую являлось предчувствие, что из вашей системы должна когда-нибудь проистечь религиозная философия; но я не нахожу слов сказать вам, как я был счастлив, когда узнал, что глубочайший мыслитель нашего времени пришел к этой великой мысли о слиянии философии с религией. С первой же минуты, как я начал философствовать, эта мысль встала передо мной, как светоч и цель всей моей умственной работы. Весь интерес моего существования, вся любознательность моего разума были поглощены этой единственной мыслью; и по мере того, как я подвигался в моем размышлении, я убеждался, что в ней лежит и главный интерес человечества. Каждая новая мысль, примыкавшая в моем уме к этой основной мысли, казалась мне камнем, который я приносил для построения храма, где все люди должны будут когда-нибудь сойтись для поклонения, в совершенном знании, явному богу. Затерянный в умственных пустынях моей страны, я долго полагал, что я один истощаю свои силы над этой работой или имею, по крайней мере, лишь немного сотоварищей, рассеянных по земле; впоследствии я открыл, что весь мыслящий мир движется в том же направлении; и великим был для меня тот день, когда я сделал это открытие. Но в то же время я был поражен потребностью в высоком индивидуальном разуме, в отдельном великом деятеле, созданном для того, чтоб руководить всеми разумами, всеми деятелями толпы. С тех пор естественно я стал думать о вас. Я сказал себе, возможно ли, чтоб новый свет, который несомненно вскоре просветит нас всех, не воссиял во всем своем блеске, прежде чем открыться глазам всего мира, пред очами этого человека, столь высоко поставленного в моральной сфере мира и которому род человеческий обязан в значительной мере тем, что вновь обрел свои первые и святые воззрения? Он, согласивший столько расходящихся начал человеческой мысли, не приведет ли к соглашению религиозное начало с началом философским, которые уже теперь соприкасаются? Одним словом, в моих сокровенных положениях прогресса и совершенствования я предназначал вас к осуществлению того великого переворота, к которому, на мой взгляд, стремится новый разум: и вот мне говорят, что уже не земную науку возвещает ваше красноречивое слово, а науку небесную; мои желания, мои предчувствия осуществились в некотором роде!

Сначала, милостивый государь, я хотел написать вам лишь в целях поблагодарить вас. Но теперь я не могу противостоять желанию узнать что-нибудь об этом новом облике вашей системы. Будет ли с моей стороны нескромностью просить вас (без всяких других прав на благосклонное внимание, кроме моей страсти к прогрессу человеческого разума и моего качества гражданина страны, в высокой степени нуждающейся в просвещении) сообщить мне некоторые данные об общих основах или главной мысли вашего теперешнего учения. Ибо, как ни могуществен ваш голос, милостивый государь, он не достигает наших широт; мы очень удалены от вас, милостивый государь; мы принадлежим к другой солнечной системе; и светлый луч, исходящий от какой-либо из звезд вашего мира, совершает огромный путь, прежде чем достигнуть нашего, и зачастую теряется в пути.

Если г. Тургенев, друг, о котором я только что говорил вам, все еще в сношениях с вами, он мог бы, пожалуй, сообщить вам, что мои научные занятия и мои труды делают меня достойным общения с вами. Как бы то ни было, в данную минуту я не хочу ни говорить вам о своих собственных мыслях, ни повергать на ваше авторитетное суждение то, что я с моей стороны называю своей системой; я знаю, что если на этот раз я могу рассчитывать на что-либо, то исключительно на интерес, который вы могли бы найти в том, чтобы ввести в вашу философию не только меня, но через мое посредство и целое молодое поколение, бедное настоящим, но богатое будущим, столь же жадное к просвещению, как и имеющее мало средств к удовлетворению своего научного пыла и великие судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу, стремящемуся объять вселенскую судьбу всех вещей. Я очень желал бы, милостивый государь, не обмануться на этот раз в моем ожидании, как когда-то, но, что бы ни случилось, я никогда не перестану удивляться вам и сохраню память о тех немногих часах, когда я наслаждался беседой с вами.

Благоволите принять, милостивый государь, уверения в моем глубоком уважении.

1833

А. И. Тургеневу[21 – Неоднократно и подолгу путешествуя по Европе, А.И. Тургенев имел широкие знакомства в политических, научных, литературных кругах и посылал в Россию многокрасочные путевые заметки, которые печатались в «Московском телеграфе», «Современнике», «Москвитянине». По воспоминаниям Вяземского, он состоял в переписке с братьями и друзьями, с духовными лицами всех возможных исповеданий, с дамами всех возрастов, короче говоря, «со всею Россией, Францией, Германией, Англией и другими государствами...». Одним из самых постоянных и значительных корреспондентов Тургенева был Чаадаев, который особенно сблизился со старым университетским товарищем в начале 30-х гг. Тургенев делал для «московского философа», как он называл Чаадаева, разнообразные выписки из нашумевших на Западе книг и статей, присылал и привозил ему из-за границы новейшие сочинения по различным отраслям знания, знакомил европейские салоны с его философическими письмами.]

Вот, любезный друг, письмо к знаменитому Шеллингу, которое прошу вас доставить ему[22 – Речь идет о послании к Шеллингу, которое Чаадаев, видимо, переделывал и переслал его Тургеневу лишь весной 1833 г.]. Известие, которое вы как-то сообщили мне о нем в письме к вашей кузине, внушило мне мысль написать ему. Письмо открыто, прочтите его, и вы увидите, о чем речь. Так как я пишу ему о вас, то я хотел, чтобы оно чрез вас и дошло к нему. Вы сделаете мне одолжение, если, посылая ему это письмо, сообщите ему, что я владею немецким языком, потому что мне хотелось бы, чтобы он отвечал мне (если он пожелает оказать мне эту честь) на том языке, на котором он столько раз воскрешал моего друга Платона и на котором знание стало благодаря ему поэзией и вместе геометрией, а теперь, может быть, уже и религией. Дай-то бог! Пора всему этому слиться воедино.

Вы пишете г-же Бравура[23 – Мария Бравура – московская красавица, итальянка по происхождению, знакомство с которой поддерживали П.А. Вяземский, М.Ф. Орлов, А.И. Тургенев, М.И. Глинка, И.С. Гагарин и другие известные современники Чаадаева. Последний, судя по ее неопубликованным письмам, знакомил Бравуру со своими идеями. «Ваши глубокие размышления о религии, – отвечала она ему, получив „желанные рукописи“, – были бы выше моего понимания, если бы я с детства не была напитана всем тем, что имеет отношение к католическому культу, который я исповедую, и всем, что ведет к Единству...»], что не знаете, о чем мне писать. Да вот вам тема для начала, а потом видно будет. Но вы, мой друг, должны писать мне по-французски. Не в обиду вам сказать, я люблю больше ваши французские, нежели ваши русские, письма. В ваших французских письмах больше непринужденности, вы в них больше – вы сами. А вы только тогда и хороши, когда остаетесь совершенно самим собой. Ваши циркуляры на родном языке – это, мой друг, не что иное, как газетные статьи, правда, очень хорошие статьи, но именно за это я их не люблю, между тем как ваши французские письма не сбиваются ни на что и потому кажутся мне великолепными. Если бы я писал женщине, я сказал бы, что они похожи на вас. Притом вы – европеец до мозга костей. В этом, как вам

Чаадаев П. письма filosoff.org

известно, я знаю толк. Поэтому французский язык – ваш обязательный костюм. Вы растеряли все части вашей национальной одежды по большим дорогам цивилизованного мира. Итак, пишите по-французски и, пожалуйста, не стесняйтесь себя, так как, по милости новой, необыкновенно сговорчивой школы, отныне дозволено писать по-французски столь же непринужденно, как по-явански, где, по слухам, пишут безразлично сверху вниз или снизу вверх, справа налево или слева направо, не терпя от того никаких неудобств.

Только что появилась здесь (в газете) статья о нашем философе[24 – Имеется в виду Шеллинг.] – вздор беспримерный, как вы легко можете себе представить. Если он хочет, чтобы его понимали в этой стране, ему следует, я думаю, ответить на мое письмо. Как и все народы, мы, русские, поднимаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хотите, но мчимся несомненно. Пройдет немного времени, и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удобную почву для своего осуществления и воплощения в людях, чем где-либо, потому что не встретят у нас ни закоренелых предрассудков, ни старых привычек, ни упорной рутин, которые противостали бы им. Поэтому для европейского мыслителя судьба его идей у нас теперь, как мне кажется, не может быть совсем безразличной. Впрочем, прочитав мое письмо, вы увидите, что я пишу ему не для того, чтобы снискать себе письмо великого человека, и что в моем поступке нет тщеславия, – что я просто хочу знать, что делается и до чего дошел человеческий ум в этой области.

Я хотел бы также, мой друг, немного побеседовать с вами, но для лучшего осведомления подожду, пока вы первый напишете мне. Кто знает? может быть, мы сумеем сообщить друг другу много добрых и серьезных вещей, которые не затеряются в пространстве бесследно. А пока я должен, по моему обыкновению, пожуричь вас. Как! вы живете в Риме и не понимаете его, после того как мы столько говорили о нем! Поймите же раз навсегда, что это не обычный город, скопление камней и люда, а безмерная идея, громадный факт. Его надо рассматривать не с Капитолийской башни, не из фонаря св. Петра, а с той духовной высоты, на которую так легко подняться, попирая стопами его священную почву. Тогда Рим совершенно преобразится перед вами. Вы увидите тогда, как длинные тени его памятников ложатся на весь земной шар дивными поучениями, вы услышите, как из его безмолвной громады звучит мощный глас, вещающий неизреченные тайны. Вы поймете тогда, что Рим – это связь между древним и новым миром, так как безусловно необходимо, чтобы на земле существовала такая точка, куда каждый человек мог бы иногда обращаться с целью конкретно, физиологически соприкоснуться со всеми воспоминаниями человеческого рода, с чем-нибудь осязательным, осязательным, в чем видимо воплощена вся идея веков, – и что эта точка – именно Рим. Тогда эта пророческая руина поведает вам все судьбы мира, и это будет для вас целая философия истории, целое мировоззрение, больше того – живое откровение. И тогда – как не преклониться пред этим обаятельным символом столетий веков, как не накинуть завесу на его обезображенный облик? Но папа, папа! Ну, что же? Разве и он – не просто идея, не чистая абстракция? Взгляните на этого старца, несомого в своем паланкине под балдахин, в своей тройной короне, теперь так же, как тысячу лет назад, точно ничего в мире не изменилось: поистине, где здесь человек? Не всемогущий ли это символ времени – не того, которое идет, а того, которое неподвижно, чрез которое все проходит, но которое само стоит невозмутимо и в котором и посредством которого все совершается? Скажите, неужели вам совсем не нужно, чтобы на земле существовал какой-нибудь непреходящий духовный памятник? Неужели, кроме гранитной пирамиды, вам не нужно никакого другого создания, которое было бы способно противостоять закону смерти?

Покойной ночи, мой друг. Остальное – до другого раза, если хотите. Пишите мне. До свидания.

Кстати: я вижу многих ваших друзей, всех ваших дам, Пашковых, Киндяковых и пр. Все вас любят и дружески приветствуют, как и я.

Москва, 20 апреля

Гр. А. Х. Бенкендорфу[25 – С будущим начальником III Отделения Чаадаев познакомился еще на полях Отечественной войны 1812 г., затем состоял вместе с ним в одной масонской ложе «Соединенных друзей», общался с Бенкендорфом по службе, будучи адъютантом командира гвардейского корпуса И.В. Васильчикова до выхода в отставку в феврале 1821 г. После возвращения из-за

границы в 1826 г. Чаадаев встречался с начальником III Отделения при неуставленных обстоятельствах, а в 1833 г. обратился к нему в связи с желанием поступить на государственную службу. К службе его подвигали и финансовые затруднения, и повышавшийся авторитет в обществе, и стремление взять на себя роль одного из активных проводников «политики рода человеческого», о которой он размышлял на страницах философических писем.]

Граф.

Я только что получил от генерала Васильчикова письмо, в котором он сообщает мне о благорасположении ко мне вашего сиятельства[26 – В поисках должности на государственной службе Чаадаев обратился за протекцией к И.В. Васильчикову. Последний сообщил ему, что люди, к которым он обращался, признают высокие качества и прежние заслуги Чаадаева, но затрудняются найти место, соответствующее его чину отставного ротмистра. Он извещал далее своего бывшего адъютанта, что Бенкендорф выразил готовность помочь ему и просил его написать подробнее о своих желаниях, что тот и сделал в настоящем письме.]. Он пишет мне, граф, что вы желаете, чтобы я написал вам. Вы уже предлагали мне сделать это, когда я имел честь вас видеть последний раз. Если я до сих пор не воспользовался любезным предложением прибегнуть к вашему покровительству, то это потому, что, состоя некогда при генерале и считая себя связанным чувством благодарности за его постоянное дружеское ко мне отношение, я полагал, что должен рассматривать его как естественного моего покровителя. Надеюсь, граф, что вы оцените мое поведение при данных обстоятельствах и сохраните ваше милостивое расположение ко мне.

Я знаю, граф, что не имею никакого права на внимание правительства. Печальные обстоятельства, слишком долго удалявшие меня от службы, окончательно отбросили меня в число людей, не имеющих законных оснований предьявлять ему какие-либо ходатайства. Тем не менее я имею смелость надеяться, что, если его величество удостоит вспомнить обо мне, он, быть может, припомнит и то, что я не во всех отношениях недостоин того, чтобы он милостиво дал мне возможность доказать ему мою преданность и применить те силы, которые я мог бы отдать на службу ему. Я полагал сначала, что, за отсутствием навыка в гражданских делах, я могу ходатайствовать лишь о предоставлении мне дипломатической должности[27 – О подготовке Чаадаева к дипломатической должности свидетельствует пристальное изучение им современных событий и расстановки политических сил в мире, исследование соответствующей литературы. «Мне кажется, – писал он до конца понятные лишь ему слова на полях книги Мартенса „Дипломатический путеводитель“, – что опасность действительно существует. И главным образом потому, что правительство станет на сторону народа... Боде может быть в Вюртенберге, нужно, прежде всего, сблизиться с Баварией... Миссия во все правительства Германии. – Система миссий. – Вспомните императора Александра. – Система жестоких репрессий будет иметь нежелательные результаты».] ; и ввиду этого я просил генерала Васильчикова сообщить стоящему во главе ведомства иностранных дел некоторые соображения, которые, как мне казалось, могли бы найти применение при настоящем положении Европы, а именно о необходимости пристально следить за движением умов в Германии. Да и в настоящую минуту я вижу, что это было бы той службой, на которой я мог бы лучше всего использовать плоды моих научных занятий и труда всей моей жизни. Но положение вещей в мире политическом усложняется со дня на день, и при этих условиях правительство может положиться в таком деле лишь на хорошо известных ему лиц. Теперь я стремлюсь лишь к счастью быть известным его величеству. Среди дивных дел этого славного царствования, когда столько наших надежд осуществилось, столько наших благопожеланий исполнилось, наиболее разительным является выбор людей, призванных к делам. И если всегда утверждали, что первым качеством монарха является умение найти людей, то, конечно, каждый из подданных его величества, раз он только стремится к чести быть им замеченным, может быть вполне уверен, что его усердие будет оценено по достоинству, что его пламенное желание служить ему не пропадет даром, что мудрость его государя сумеет разобраться в способностях, как бы ничтожны они ни были, раз он может ими воспользоваться для блага государства. Итак, я отдаю себя в полное и безусловное распоряжение его величества: я буду счастлив, если моей грядущей судьбой буду обязан исключительно моему императору, августейшему судье всех наших достоинств, законному ценителю тех услуг, которые каждый из нас может оказать отечеству!

Но вы, граф, согласившийся со столь благородной любезностью

Чаадаев П. письма filosoff.org

предстательствовать за меня перед лицом властителя, вы соблагovolите, смею надеяться, обратить его внимание и на невыгоды моего положения. В бозе почивший император[28 – Речь идет об Александре I.], увольняя меня в отставку, не пожелал пожаловать мне чин полковника, следовавший мне, но которого я бесспорно не заслуживал ввиду моего смешного упорства уйти в отставку. Таким образом, я имею лишь чин капитана гвардии. Я должен сказать, однако, что, если плохое состояние моего здоровья и моих имущественных дел долгое время препятствовало мне поступить на службу его величества, я все же провел все это время не без того, чтоб постараться собрать кое-какие сведения и кое-какие знания, которые я мог бы при случае использовать для блага моей страны. Я в высшей степени нуждаюсь, граф, во всемогущем благорасположении императора. Без него, погребенный во мраке, на который осуждает меня мой чин, я едва ли могу рассчитывать на то, что взгляд его величества падет на меня.

Благovolите, граф, принять уверение в глубоком моем уважении.

Чаадаев

Москва. 1833. 1 июня

Николаю I

Государь.

Ваше величество благоволили согласиться на мое ходатайство о принятии меня вновь на службу. Вам угодно, чтобы я поступил в министерство финансов. Ваша воля, государь, закон для меня, и милость, с которой вы снизошли на мою просьбу, составляет мое счастье. Но когда я решился вновь посвятить себя службе вашего величества, я имел в виду не только мою выгоду, я стремился и к славе с пользой послужить вам. Ведомство, к которому вы меня предназначаете, государь, предполагает положительные сведения по предмету, который мне чужд. Одушевленный желанием исполнить вашу волю, я вижу, что прилежанием в сих предметах я в состоянии буду достигнуть когда-нибудь знакомства с ними в общих чертах. Но, государь, высокие взгляды, проводимые вами во всех отраслях управления, и великие законодательные меры, предпринятые вами, делают из вашего царствования славную эпоху, когда рядовые способности и знания у служителей государства уже не могут соответствовать тому широкому размаху, который придан правлению. Я, государь, мог бы явить на этом поприще лишь непригодность человека, все научные занятия которого в прошлом связаны были с предметами, чуждыми этой области.

Государь, я не смею проникать вашей царственной мысли, мне неведомы ваши намерения относительно меня. Но я знаю, и весь мир, как и я, знает, что все действия вашего правительства запечатлены великой мыслью, и эта мысль исходит от вас. Я обращаюсь поэтому к вам в сознании, что говорю с государем, столь же высоко стоящим, как человек среди людей, сколь он высоко поставлен как монарх среди монархов.

Я много размышлял над положением образования в России и думаю, государь, что, заняв должность по народному просвещению, я мог бы действовать соответственно предначертаниям вашего правительства. Я думаю, что в этой области можно много сделать, и именно в том духе, в котором, как мне представляется, направлена мысль вашего величества. Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в наших взглядах на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, во всем не подчиняться воздействию других народов, но с своей стороны воздействовать на них. Если бы эти мысли оказались согласными со взглядами вашего величества, я был бы несказанно счастлив содействовать осуществлению их в нашей стране. Но прежде всего, я глубоко убежден, что какой-либо прогресс возможен для нас лишь при условии совершенного подчинения чувств и взглядов подданных чувствам и взглядам монарха.

Чаадаев П. Письма filosoff.org

Государь, я счел долгом честного человека доложить вам о моей непригодности в той области, которую вы мне предназначили, и о том, что я мог бы дать в другой области. Но какова бы ни была ваша верховная воля по отношению ко мне, я буду счастлив подчиниться ей. Вы, государь, судья в вопросе о том, какое применение следует дать для общего блага способностям того или другого из ваших подданных. Я умоляю лишь ваше величество соблаговолить милостиво оценить те поводы, которые вызывают мое поведение в настоящем случае.

Государь,  
имею честь быть  
вашего величества  
верноподданный  
Чаадаев  
Июль 15

А. Х. Бенкендорфу [29 - Это письмо, сопровождающее послание Николаю I, и следующие письма к Бенкендорфу, связанные с вопросами устройства на службу, написаны по-русски. Отвечая Чаадаеву на сопроводительное письмо, Бенкендорф замечал: «Получив письмо ваше от 15 минувшего июля и усматривая из оногo, что вы, в приложенном при сем письме вашем на высочайшее имя, упоминаете о несовершенстве образования нашего, я, имея в виду пользу вашу, не решился всеподданнейшего письма вашего представить государю императору, ибо его величество, конечно бы, изволил удивиться, найдя диссертацию о недостатках нашего образования там, где вероятно ожидал одного лишь изъявления благодарности и скромной готовности самому образоваться в делах, вам вовсе незнакомых. Одна лишь служба, и служба долговременная, дает нам право и возможность судить о делах государственных, и потому я боялся, чтобы его величество, прочитав ваше письмо, не получил о вас мнение, что вы, по примеру легкомысленных французов, принимаете на себя судить о предметах, вам неизвестных. В сем уважении я счел лучшим препроводить к вам обратно всеподданнейшее ваше письмо, которое при сем прилагаю, имея честь быть с совершенным почтением и преданностью вам покорнейший слуга граф Бенкендорф». Настойчивое желание Чаадаева служить в министерстве просвещения не исполнилось, и переписка с Бенкендорфом прервалась. Известно только, что в конце 1833 г. царь соизволил определить его по министерству юстиции, но Чаадаев, желавший служить именно для русского просвещения, пренебрег этим предложением.]

Милостивый государь  
граф Александр Христофорович.

Я имел честь получить письмо вашего сиятельства. Государь император желает, чтоб я служил по министерству финансов. Я осмелился отвечать на это самому государю. Прошу покорнейше ваше сиятельство письмо мое вручить его величеству.

Я пишу к государю по-французски. Полагаясь на милостивое ваше ко мне расположение, прошу вас сказать государю, что, писавши к царю русскому не по-русски, сам тому стыдился. Но я желал выразить государю чувство, полное убеждения, и не сумел бы его выразить на языке, на котором прежде не писал. Это новое тому доказательство, что я в письме своем говорю его величеству о несовершенстве нашего образования. Я сам живой и жалкий пример этого несовершенства.

Вашему сиятельству доложу я еще, что если вступлю в службу, то в сей раз пишу по-французски в последний. По сие время писал я на том языке, на котором мне всего было легче писать. Когда стану делать дело, то бог поможет, найду и слово русское: но первого опыта не посмел сделать, писав к государю.

С глубочайшим почтением честь имею быть вашего сиятельства, милостивого государя, покорный ваш слуга Петр Чаадаев.

Москва,

июля 15. 1833

А. Х. Бенкендорфу

Милостивый государь

граф Александр Христофорович.

Приношу живейшую мою благодарность вашему сиятельству за участие, которое вы изволите принимать в моей судьбе. Получив письмо ваше, я был тронут, найдя в нем, что вы для собственной моей пользы не вручили государю всеподданнейшего письма моего. Возвращая это самое письмо вашему сиятельству, я отнюдь не имею дерзости ожидать, чтоб оно сделалось известным его величеству, но прошу вас только прочесть его. Надеюсь, что вы увидите, что я не имел безумия включить в оное рассуждения о делах государственных и что в особенности нет в нем ничего похожего на преступные действия французов, которыми более кого-либо гнушаюсь. Мнение государево для меня неоцененно, и я чрезмерно счастлив, что благосклонностью вашей сохранен от невыгодного его величества обо мне понятия, но и мнение ваше для меня драгоценно, потому и решился я представить это письмо на ваше суждение.

Осмелюсь только сказать в оправдание свое насчет того выражения, которое показалось вам предосудительным, что мне кажется, что состояние образованности народной не есть вещь государственная и что можно судить об образованности своего отечества, не отваживаясь мешаться в дела государственные, потому что всякий по собственному опыту знать может, какие способы и средства в его отечестве для учения употребляются, а глядя вокруг себя, оценить степень просвещения в оном. К тому же, говоря о несовершенстве нашего образования, я не помышлял хулить наши учебные учреждения и действия правительственные, а разумел только образ ученья нашего, коего недостаток ношу в себе горестное сознание. Прошу ваше сиятельство покорнейше простить мне это скромное прекословие, которое себе позволил единственно из желания оправдать себя пред вами.

Впрочем, какое бы мнение ваше сиятельство по сему обо мне ни возымели, в моих понятиях, долг святой каждого гражданина, покорность безусловная властям провидением поставленным, а вы, облеченные доверием самодержца, представляете в глазах моих власть его. Всякому вашему решению смиренно повиноваться буду.

Имею честь быть с глубочайшим почтением и преданностью вашего сиятельства покорный слуга

ПетрЧаадаев

16 августа 1833. Москва

А. Х. Бенкендорфу

Милостивый государь

граф Александр Христофорович.

Не имея никакого права ожидать ответа на письмо, которое писал к вашему сиятельству прошлого августа месяца, во время отсутствия вашего за границу, теперь осмеливаюсь писать к вам единственно для того, чтоб, если вы по сему случаю как-либо не изволили получить письма моего, известить вас, что я не оставил поступка своего без оправдания. Я знаю, что сего оправдания недостаточно, потому что в таких делах не имею возможности представиться вам в другом виде, в каком раз представился. Но, находясь по сему случаю также и пред высоким лицом государя, не мог я не употребить, хотя и без надежды, все средства, дабы заслужить вновь милостивого воззрения его величества.

Уверяю вас, ваше сиятельство, что никто лучше меня самого не может оценить моего безрассудства и что горесть моя, лишив себя счастья служить государю, неописуема.

С глубочайшим почтением имею честь быть,  
милостивый государь, вашего сиятельства  
покорнейший слуга Петр Чаадаев.

1835

А. И. Тургеневу

Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне большое удовольствие. Оно преисполнено того горячего участия к делам, представляющим общий интерес, которое с каждым днем все реже встречается среди нас: скоро об этом и помину не будет. Но я должен вам сказать, что оно и огорчило меня. Рукопись, о которой вы говорите [30 – Речь идет о каком-то сочинении Чаадаева, которое Тургенев, видимо, собирался поместить в одном из французских журналов.], никуда не годится; вот почему я и хотел взять ее у вас обратно при вашем отъезде. Поэтому я и не намерен ответственность за ее содержание. Вы получите другой экземпляр того же; бросьте этот в огонь, и пусть от него и следов не останется. Вы поймете поэтому, что я не имею ничего возразить против благожелательных исправлений графини Ржевусской. Уверьте ее, пожалуйста, если встретите ее, что я весьма тронут ее симпатиями и, в качестве философа женщин [31 – Чаадаев называл себя философом женщин не только потому, что его философические письма были обращены к даме. В прочитанных им книгах немало следов внимательного изучения женской физиологии и психологии, позволяющих раскрывать содержание такой самооценки. Например, в книге Бернардена де Сен-Пьера он отмечает для себя рассуждения о духовных особенностях «прекрасного пола», являющегося исключительно таковым лишь для «глазастых» людей. Для тех же, кто имеет еще и сердце, это и рождающий и кормящий пол, стойко переносящий тяготы подобного положения, набожный пол, несущий своих младенцев к алтарям и вдохновляющий в них религиозные чувства, мирный пол, держащий в своих руках иголку и нитку, а не ружье и шпагу, утешающий больных, а не проливающий кровь ближних. В природной женской пассивности и сердечной предрасположенности к самоотречению автор философических писем видел залог развития способности покоряться «верховой воле», чтобы лучше различать голос «высшего разума» и пропитаться «истинами откровения». Женское для Чаадаева является в известной степени антропологическим преломлением религиозного и послушным орудием провидения.], очень высоко их ставлю. Как знать? Быть может, когда-нибудь мне доведется лично высказать ей это. Если я выберусь когда-нибудь из моей страны, то она может быть уверена, что мне ничего не будет стоить сделать крюк миль в двести и даже более, чтобы засвидетельствовать ей мое почтение. Но в ожидании того, что мне удастся посетить эту умную женщину, представьте себе, что все умные женщины уезжают отсюда. Орлова уезжает; Бравура уезжает; Елагина уезжает; княгиня Мещерская уехала. Эта, по крайней мере, вернется; что касается остальных, то они отправляются к вам в Италию: вы легко можете себе представить, что я не пожелал им счастливого пути, ибо, видит бог, у нас и без того довольно...

Имеете ли вы известия о том, что у нас появилось в свет на этих днях? Во-первых, мы имеем том рассказов Павлова [32 – ...том рассказов Павлова – «Три повести» Н.Ф. Павлова.]. Постарайтесь добыть его и прочтите первый рассказ [33 – ...прочтите первый рассказ. – Первая повесть называлась «Именины»]: это стоит почитать. Или я очень ошибаюсь, или это произведение представляет событие. Затем у нас есть драма. Тоже событие, но в другом смысле. Пьеса озаглавлена Скопин-Шуйский [34 – Речь идет о пятиактной драме Н.В. Кукольника «Князь М.В. Скопин-Шуйский»]; автор – Кукольник, нечто в роде Виктора Гюго в маленьком формате и, понятно, без его устремлений. Вам известно, что этот Скопин-Шуйский одно из замечательнейших явлений нашей истории, единственное, быть может, по своему размеру на всем протяжении наших летописей. Это цивилизованный герой, герой на западный лад. Между тем в драме не он является первенствующим лицом, а Ляпунов. Этот последний –

дикарь, варвар, своей варварской грузностью совершенно подавляющий Шуйского, и он является великим человеком данного поэтического произведения. Ему, следовательно, аплодисменты, ему фанатизм публики. Вам понятно, куда клонит эта прекрасная концепция. Там есть места, исполненные дикой энергии и направленные против всего идущего с Запада, против всякого рода цивилизации, а партер этому неистово хлопает! Вот, мой друг, до чего мы дошли.

Еще любопытную вещь найдете вы в Библиотеке. Крик бешеного безумца против немецкой философии. Обратите на это свое внимание; никогда еще литературное бесстыдство, никогда еще цинизм духа не заходили так далеко; и что всего забавнее: эта статья помещена бок о бок с прелестнейшим письмом Жуковского, пропитанным немецким духом. [35 - Речь идет о журнале «Библиотека для чтения», в девятом томе которого была напечатана анонимная критическая статья «Германская философия» и «Отрывок письма из Швейцарии» В.А. Жуковского, озаглавленный «Две всемирные истории».]

В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным созданием. Таким образом, поэзия, история, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий в областях понимания. В настоящее время невозможно предвидеть, куда это нас приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. Скажите, разве это не жалость видеть, как мы в то время, как все народы братаются и все местные и географические отличия стираются, обращаемся таким образом вновь на себя и возвращаемся к квасному патриотизму? Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки. Но если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей; этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и, пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал мою мысль, остальное будет делом бога. Будьте здоровы, мой друг. Да придет царствие твое.

Доставьте мне удовольствие: соберите кой-какие сведения о некоем Филарете Шаль, превосходные статьи которого попадают мне в Revue de Paris [36 - Revue de Paris - французский журнал, основанный в 1829 г., в котором напечатали свои произведения О. де Бальзак, А. Дюма, Э. Сю и другие известные писатели. В 1845 г. был закрыт в связи с финансовыми трудностями, а в 1851 г. стал выходить вновь.]. Затем, что такое аббат Лакордер? Свечина может вам наверное сообщить кой-что о нем. Кн. Мещерская вернулась и поручила мне сказать вам, что она говорила о ваших Обливанцах, и что эти маленькие преследования происходят без ведома высших властей, и что преследователи уже получили выговор по этому поводу.

1 мая

А. И. Тургеневу

Вот, дорогой друг, рукопись, которую я обещал прислать вам. Это лишь новый экземпляр того, что у вас есть; но он может на этот раз, думается мне, без стыда появиться перед публикой цивилизованного мира. Поспешите, пожалуйста, уведомить меня о получении. Вы понимаете, что я не вполне уверен в его благополучном прибытии. Впрочем, заботу о нем взял на себя Мейндорф. Мейндорф много рассказывал мне о какой-то France litte&#769;raire[37 - France litte&#769;raire - литературно-общественный журнал католического направления, периодически выходивший с 1832 по 1843 г.], где он во что бы то ни стало хочет напечатать меня. В добрый час. Но что такое France litte&#769;raire? Сиркуры[38 - Сиркуры - речь идет о французском публицисте графе Адольфе де Сиркуре и его жене Анастасии Семеновне, урожденной Хлюстиной, в салоне которых собиралось избранное парижское общество.] не больно ее хвалят. Это, говорят, партийное предприятие. Не забудьте сообщить мне, получили ли вы длинное письмо в ответ на ваше письмо из Вены, где я писал вам о всякой всячине, главным образом о некоторых наших литературных произведениях. На этот раз я вам не сообщу ничего. Итак, будьте здоровы. Если правда, что вы все еще в Париже, в этом центре мрачного света, то не забудьте, когда будете писать мне, послать мне несколько лучей этого мрака, ну хотя бы что-нибудь Мишле, Лерминье, проповедь Лакордера и т. д. и т. п. Передайте, пожалуйста, пожатие руки из самых нежных вашему брату. Да придет царство твое.

А. И. Тургеневу

Благодарю вас, мой друг, за ваши крайне интересные сообщения. Это - настоящее обозрение в форме письма. Ваше письмо из Лондона в особенности живо меня заинтересовало. Значит, правда, что существует только одна мысль от края до края вселенной; значит, действительно, есть вселенский дух, парящий над миром, тот Welt Geist[39 - Welt-Getst - мировой дух (нем.)], о котором говорил мне Шеллинг и перед которым он так величественно склонялся; можно, значит, подать руку другому на огромном расстоянии; для мысли не существует пространства, и эта бесконечная цепь единомысленных людей, преследующих одну и ту же цель всеми силами своей души и своего разума, идет, следовательно, в ногу и объемлет своим кольцом всю вселенную. Продолжайте давать мне чувствовать движение мира: ваши труды, я надеюсь, не пропадут даром. Есть, впрочем, вещи, которые ускользают от вас. Вы ничего мне не сказали, например, о последнем сочинении Гейне[40 - Речь идет о втором томе «Салона» Гейне.]. Правда, что большая часть глав этой странной книги появилась уже раньше в различных журналах; но не может быть, чтобы соединение их в одно целое не вызвало волнения в философском мире. Знаете, как я назвал Гейне? фиески в философии. Вы знаете, что он проводит параллель между Кантом и Робеспьером, фихте и Наполеоном, Шеллингом и Карлом Х. Я, следовательно, только продолжил параллель и вполне естественно пришел к ужасающему сочетанию этих двух сатанинских существ, представляющих, как тот, так и другой, цареубийц, каждый на свой лад. Смее думать, что этот новый фиески немногим лучше старого; но во всяком случае его книга есть покушение, во всем подобное бульварному, с тою только разницею, что короли Гейне законнее короля фиески; ибо это, во-первых, сам господь бог, а затем все помазаные науки и философии. В остальном тот же анархический принцип, то же следствие вашей прославленной революции; наконец, как тот, так и другой бесспорно вышли из парижской грязи.

Я не знаю, каково в настоящее время ваше мнение об этом вулканическом извержении всей накопленной Францией грязи, выбросившем в свет плачевную золотую посредственность; что до меня, то я с каждым днем нахожу новые основания негодовать на него. Поверьте мне, оно отодвинуло мир на полстолетия назад, спутало окончательно все социальные идеи, и бог знает, когда они еще распутаются! Это суждение есть суждение ума беспристрастного в той степени, в какой это только возможно, ибо это ум русский, доведенный до пределов свойственной ему безличности. Вы знаете, что, по моим воззрениям, русский ум есть ум безличный по преимуществу. Дело в том, что оценить как следует европейские события можно лишь с того расстояния, на котором мы от них находимся. Мы стоим, по отношению к Европе, на исторической точке зрения, или, если угодно, мы - публика, а там актеры, нам и принадлежит право судить пьесу.

Эта великая пьеса, которая разыгрывается народами Европы и на представлении которой мы присутствуем в качестве холодных и беспристрастных зрителей, напоминает маленькую пьесу Загоскина, которая в скором времени будет поставлена здесь, на которую также будет взирать беспристрастная и холодная публика и заглавие которой Недовольные[41 – Имеется в виду комедия М.Н. Загоскина. «Вы, верно, слышали, – сообщал о ходивших по Москве слухах близкий к кругу Герцена Н.А. Мельгунов члену кружка Станкевича Я.М. Неверову в январе 1835 г., – что Загоскин пишет комедию „Недовольные“, для которой тему ему дал государь». Прототипами же действующих лиц служили П.Я. Чаадаев и М.Ф. Орлов. Главный герой, князь Радугин, находясь в отставке и тратя много денег на прихоти жизни, сердится, что правительство не замечает его талантов и не использует их должным образом. На его желание получить государственную должность министр отвечает отказом почти же словами, что и Бенкендорф Чаадаеву: для этого нужна «большая опытность, которая приобретается продолжительной и постоянной службою...». Сын князя Владимир, которым восхищаются ученые умы Германии и Франции, говорит и пишет на нескольких иностранных языках, но плохо знает русский и презирает все отечественное. В подобных штрихах легко проглядываются сатирически преувеличенные черты биографии Чаадаева. Заданность темы и нарочитое высмеивание, упрощающие реальную сложность характеров и нарушающие правдивость повествования, заведомо обрекали комедию Загоскина на неуспех. «Недовольные», – замечал Пушкин, – в самом деле скучная, тяжелая пьеса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического положения, а разговор пошлый и натянутый не заставляет забывать отсутствие действия».]. Недовольные! Понимаете вы всю тонкую иронию этого заглавия? Чего я, с своей стороны, не могу понять, это – где автор разыскал действующих лиц своей пьесы. У нас, слава богу, только и видишь, что совершенно довольных и счастливых людей. Глуповатое благополучие, блаженное самодовольство – вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас; и что особенно замечательно, это то, что как раз в то время, когда все эти слепые и страстные национальные самоутверждения, враждебные друг другу, унаследованные христианскими народами от времен язычества, сглаживаются и все цивилизованные нации начинают отрекаться от презрительного самодовольства в своих взаимных отношениях, нам взбрело в голову стать в позу бессмысленного созерцания наших воображаемых совершенств. Говорят, что О...[42 – имеется в виду М.Ф. Орлов.] и я выведены в новой пьесе. Странная мысль сделать недовольного из О..., из этого светского человека, во всех отношениях счастливого, счастливого до фанатичности. А я, что я сделал, что я сказал такого, что могло бы послужить основанием к обвинению меня в оппозиции? Я только одно непрестанно говорю, только и делаю, что повторяю, что все стремится к одной цели и что эта цель есть царство божие. Уж не попала ли невзначай молитва господня под запрет? Правда, я иногда прибавляю, что земные власти никогда не мешали миру идти вперед, ибо ум есть некий флюид несжимаемый, как и электричество; что нам нет дела до крутны Запада, ибо сами-то мы не Запад; что Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы. Что же во всем этом еретического, скажите на милость? И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что ее дело в мире есть политика рода человеческого; что император Александр прекрасно понял это и что это составляет лучшую славу его; что провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что, если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей. Пеняйте на Загоскина за всю эту болтовню, но позвольте вам сказать еще и следующее. В нас есть, на мой взгляд, изумительная странность. Мы сваливаем всю вину на правительство. Правительство делает свое дело, только и всего; давайте делать свое, исправимся. Странное заблуждение считать безграничную свободу необходимым условием для развития умов. Взгляните на восток! Разве это не классическая страна деспотизма? И что ж? Как раз оттуда пришел миру всяческий свет. Взгляните на арабов! Имели ли они хоть какое-нибудь представление о счастье, даруемом конституционным режимом? И тем не менее мы им обязаны доброй частью наших познаний. Взгляните на средние века. Имели ли они хоть малейшее понятие о несказанной прелести золотой

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)

посредственности? И, однако, именно в средние века человеческий ум приобрел свою наивеличайшую энергию. Наконец, думаете ли вы, что цензура, упрятавшая Галилея в тюрьму, в чем-либо уступала цензуре Уварова и присных его? И тем не менее земля вертится себе после пинка, данного ей Галилеем! Следовательно, будьте гениальны и увидите.

Я только что прочел в *Journal des Débats* [43 – *Journal des Débats* – газета, основанная во Франции в 1789 г. для публикации отчетов Учредительного собрания.] превосходную статью Марка Жирардена по поводу нового издания св. Иоанна Златоуста. Если вы знакомы с Жир., то скажите ему, что московский философ [44 – ...московский философ... – Чаадаев так называет самого себя.], из ваших друзей, просит вас передать ему благодарность за нее. Нужно, чтобы там знали, что хорошее находит отголосок даже и в сих областях, где средняя температура пятнадцать дней кряду стоит на 30° Реомюра, как было у нас недавно, и что холод, замораживающий ртуть, не замораживает глубокой идеи. Быть может, также они поймут, что наш век не столь атеистичен, как о нем говорят, когда увидят, что религиозная идея немедленно встречает привет даже в столь отдаленной стране, как только она выражена выдающимся умом.

Жир. показывает, что весь прогресс физических наук за последнее время клонится к подтверждению системы, изложенной в библейской книге бытия, и основывается на новом трактате об электричестве Беккереля. Как раз в то время, как я сел писать вам, я кончал чтение этого трактата. Любопытно то, что сам автор не подозревает, что его книгу можно использовать в этом смысле, он даже опровергает те доводы, которые Кювье приводит в пользу космогонии Моисея. Я напал при чтении еще на одно странное обстоятельство. Как это случилось, что в великое дело электричества, в котором приняли участие люди всех цивилизованных наций, мы не внесли ничего? Кое-какие наблюдения над земным магнетизмом, сделанные чужестранцами, например Купфером, и это, пожалуй, все. Однажды попадаете имя Симонова, из Казани, и то с тем, чтоб сказать ему, что его наблюдение ровно ничего не стоит. Приходится признаться, что в нашей умственной организации есть какой-то глубокий недостаток. Мы совершенно лишены, например, способности к логической последовательности, духа метода и постепенности. Спурцгейм в своей френологической классификации человеческих способностей дает этой группе название органа причинности; вот этот-то орган и остался без развития в нашем бедном мозгу; стоит только пощупать свой череп, чтоб убедиться в этом. Дело в том, что идея никогда не властвовала среди нас; мы никогда не были движимы великими верованиями, могучими убеждениями. Что представляют собой, в самом деле, мелочные события нашей религиозной истории по сравнению со вспышками христианской мысли на Западе? И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их. Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX ее век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р. Х., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов; вы увидите, что эти нации всегда жили жизнью одушевленной, разумной, плодотворной; что им с самого начала дана была некоторая идея и что погоня за этой идеей, ее развитие создали всю их историю; что, наконец, они всегда творили, выдумывали, изобретали. Скажите мне, где та идея, которую мы развиваем? Что мы открыли, выдумали, создали? Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое, выйти из лжи и утвердиться в истине. Тогда мы пойдем вперед, и пойдем скорее других, потому что пришли позднее их, потому что мы имеем весь их опыт и весь труд веков, предшествовавших нам. Люди Европы странно ошибаются на наш счет. Вот, к примеру, Жюффруа сообщает нам, что наше предназначение – цивилизовать Азию. Прекрасно; но спросите его, пожалуйста, где те народы Азии, которые были цивилизованы нами? Разве что мастодонты и остальное ископаемое население Сибири; насколько мне известно, это единственный род существ, выведенный нами из мрака, да и то благодаря Палласам и Фишерам. Они упорно уступают нам Восток; по какому-то инстинкту европейской национальности, они оттесняют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на Западе. Нам не следует попадаться на их невольную хитрость; постараемся сами открыть наше будущее и не будем спрашивать у других, что нам делать. Восток – удел господствующих над морями, это очевидно; мы значительно более удалены от него, чем англичане, и теперь уж не те времена, когда все перевороты на Востоке шли из Центральной Азии. Новый устав Индийской компании – вот отныне действительное цивилизующее начало Азии. Мы призваны, напротив, обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не смейтесь: вы знаете, что это мое глубокое убеждение. Придет день,

когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу. Таков будет логический результат нашего долгого одиночества; все великое приходило из пустыни. Могучий голос, на этих днях раздавшийся в мире, в особенности послужит к ускорению исполнения судеб наших.

Пришедшая в остолбенение и ужас, Европа с гневом оттолкнула нас; роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась. Поэтому обратите внимание, что никогда еще ни одно действие правительства не было встречено более единодушными симпатиями нации, никогда не видано было более совершенного согласия между чувствами государя и чувствами народов! ибо в данном случае само провидение говорило устами монарха: вот почему все инстинкты нации преклонились перед этим глаголом свыше.

Но, впрочем, будет философствовать; поговорим немного о себе. Я получил недавно вести о нашем славном Шеллинге через молодого Гагарина. Если все, что этот молодой человек передал мне от имени философа, не преувеличено, то я не могу не быть весьма тронутым этим приложением учения о Тожестве к моей незначительной персоне. По-видимому, жалкая статья Библиотеки не дошла до него[45 - См. прим. 6 к письмам 1835 года.]. Но вы ничего мне не пишете больше о Балланше.

А знаете, что я было построил целую философию на его симпатиях[46 - ...построил целую философию на его симпатиях - согласно «симпатиям» французского философа Балланша, только «прогрессивный традиционализм», причудливо сочетающий в себе ультрамонтанство и свободолюбие, способен глобально и оптимистически обосновать социальную эволюцию, в которой полнота раскрытия человеческих способностей и станет конечным осуществлением религиозных начал: «Я надеюсь дать синтетическое изложение истории человечества. Я надеюсь показать историю общества от его темного зарождения и таинственной колыбели вплоть до высшего развития его силы и могущества... Осмелюсь сказать, что более широкий исторический синтез невозможен». Такие задачи французского философа глубоко впечатляли Чаадаева и совпадали с его собственными.]. Признаюсь вам, впрочем, что я был крайне удивлен его суждению о моей статье; плохой экземпляр, бывший в его руках, не давал мне оснований рассчитывать на это. Как бы то ни было, в интересах философии вам не следовало бы давать порваться связям, установлению которых вы сами содействовали. Еще с кем бы мне очень хотелось установить сношения - это де Генуд. Есть что-то живое в этой душе священника: он не смотрит, сложа руки, на проходящих мимо людей, он стучится во все двери, он везде со своим Христом. Такова католическая философия. Начало католичества есть начало деятельное, начало социальное, прежде всего. Этот характер вы найдете в нем во все эпохи нового времени. Одно оно восприняло царство божие не только как идею, но еще и как факт, ибо одно оно владело теми священными традициями, тем учением избранных, которые во все времена поддерживали существование мира, причем этот последний даже и не подозревал об этом. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал[47 - Евангелие от Иоанна, I, 10.]. Как видите, моя религия не совсем совпадает с религией богословов, и вы можете мне сказать, пожалуй, что это и не религия народов. Но я вам скажу, что это та религия, которая скрыта в умах, а не та, которая у всех на языке; что это религия вещей, а не религия форм; что это религия, какова она есть, а не какова она нам кажется; наконец, что это та предвосхищенная религия, к которой в настоящее время взывают все пламенные сердца и глубокие души и которая, по словам великого историка будущего, станет в грядущем последней и окончательной формой поклонения и всей жизнью человечества; но которая, в ожидании этого, не сталкивается с народными верованиями, а, напротив, в своей любвеобильности приемлет их, хотя и идет дальше их. Если бы в те времена, когда я искал религии, я встретил бы в окружающей меня среде готовую, я наверное принял бы ее; но, не найдя таковой, я принужден был принять исповедание Фенелонов, Паскалей, Лейбницов и Бэконов. Вы, между прочим, были неправы, когда определили меня как истинного католика. Я, конечно, не стану отрекаться от своих верований; да, впрочем, мне было бы и не к лицу теперь, когда моя голова начинает покрываться сединой, извращать смысл целой жизни и всех убеждений моих; тем не менее, признаюсь, я не хотел бы, чтобы двери убежища захлопнулись передо мной, когда я постучусь в них в одно прекрасное утро. Пусть сие заключение моей речи не смущает вас; вы знаете, что я уже с давних пор готовлюсь к катастрофе, которая явится развязкой моей истории. Моя страна не упустит

Чаадаев П. Письма filosoff.org  
подтвердить мою систему, в этом я нимало не сомневаюсь.

Будьте здоровы, мой друг. Смее надеяться, что вы не будете больше упрекать меня в безмолвии и сами не измените вашим добрым привычкам. Сообщите мне, как поживает Свечина, вы не можете не понимать, сколь глубоко я интересуюсь всем, что касается этой дамы. Что касается ваших поручений, то они исполняются по мере их получения, если не всегда с успехом, то по крайней мере всегда с усердием. Впрочем, нужно было бы быть более сведущим в физиологии страстей, чем я, чтобы с успехом служить вам при всех обстоятельствах. Во всяком случае, я вас крепко люблю и делаю, что могу. Да приидет царствие твое.

Княгиня Мещерская приезжает на днях из деревни, итак, я буду иметь случай поговорить с ней о вас.

Вот уже месяц, как написано это письмо. Булгакова не было в Москве. По-видимому, он уже давно вернулся, но я узнал об этом только вчера. Отправлю его, как оно есть, дабы не брать на себя труда писать новое. За это время я получил брошюру Экштейна[48 – Вероятно, речь идет о брошюре французского католического публициста и философа Ф. Экштейна, в которой говорится о важности изучения индийских Вед.]! Передайте ему, пожалуйста, что я весьма тронут этой чисто философской любезностью и что я не замедлю написать ему. Вы не говорите мне ничего о человеке, который так долго был лучшим из друзей. Это нехорошо с вашей стороны.

1836

И. Д. Якушкину[49 – Еще с университетской скамьи, а затем и в походах Отечественной войны 1812 г. Чаадаева и Якушкина связывала тесная дружба. В 1821 г. последний принял первого в распущенный «Союз благоденствия». Ссылный декабрист и автор философических писем, несмотря на пожизненную разлуку, иногда получали сведения друг о друге благодаря родственникам и знакомым, особенно же двоюродной сестре Якушкина Е.Г. Левашевой, в доме которой на Новой Басманной Чаадаев безвыездно жил с 1833 г. Сам Чаадаев в 1834 г. послал Якушкину небольшую картину с подписью художника Романелли, изображающую семейную группу, а нижеследующее письмо написал в 1836 г. Письмо это не дошло до адресата и сохранилось среди бумаг Чаадаева, арестованных у него в конце 1836 г. в связи с «телескопской» историей. Оно печатается по тексту публикации Д.И. Шаховского в книге «Декабристы и их время» (М., 1932, т. 2).]

Москва. 2 мая

Дорогой друг. Вот книга[50 – Имеется в виду трактат по электричеству и магнетизму французского физика Беккереля.], которую тебе посылает г-жа Левашова. Я подменил предназначенный тебе экземпляр другим, которым сам пользовался, с той целью, чтобы ты сосредоточил свое внимание на тех местах, которые привлекли и мое: они подчеркнуты моим карандашом. Мне было чрезвычайно отраднo узнать о твоих усидчивых занятиях, способных так сильно смягчить тяготы твоей жизни. Мне известно, что в ссылке ты не переставал накапливать знания. Великое благо судьбы, что она тебе позволила сохранить вкус к науке среди ужасов, обрушившихся на тебя по людскому суду. Не может быть, чтобы ты не ощущал за это глубокой благодарности по отношению к тому, от кого исходят всякие блага, убеждения. Со своей стороны я глубоко верю, что, в награду за стойкую и вместе с тем спокойную покорность в несении своего жребия и за неизменно сохраняемые под давлением страшного бедствия чувства кроткого благорасположения и совершенной любви, тебе уже дарованы новые откровения в постижении многих вещей. И поэтому, приглашая тебя тщательно вникнуть в некоторые из подчеркнутых в этой книге отрывков, я, наверное, лишь продолжаю дело, уже начатое богом. В конце концов общее представление о природе, вытекающее из последних завоеваний естественных наук, сводится к подтверждению всей космогонической и бытийной (ge&#769;ne&#769;sia-que, т. е. согласной с первой библейской книгой – Бытия. – Прим. переводчика) системы еврейских преданий: это вытекает из всякого нового открытия, из всякого шага вперед человеческого разума, и особенно любопытно то, что Беккерель, опровергая Кювье, который уже представил основательные доводы в защиту этой системы, со своей стороны

Чаадаев П. письма filosoff.org  
приводит новые, еще более убедительные.

Как видишь, письмо это должно было служить введением к предстоящему тебе чтению, но мог ли я тебе писать и не затронуть при этом многое другое, не окинуть горестным взором былое, все проникнутое дружбой, не воскресить в памяти дни, протекавшие в сладостном общении на самом краю бездны?

Ах, друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такой речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было.

Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков тому назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее внимание, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило.

Как бы я был счастлив, если бы в тот день, когда ты сможешь мне написать, а день этот, говорят, близок, первые твои слова, направленные ко мне, подтвердили, что ты теперь осознал свою страшную ошибку и что в своем уединении ты пришел к заключению, что заблуждение может быть искуплено перед высшей правдой не иначе как путем его исповедания, подобно тому, как ошибка в счете может быть исправлена лишь после ее признания.

Прощай, друг мой. Я горжусь тем, что смог сказать тебе эти вещи с уверенностью, что душа твоя этим не оскорбится и что твое высокое понимание сумеет разглядеть в сказанном внушившее его чувство.

Я тебе ничего не сказал о моем брате потому, что он в Нижнем, и потому, что я редко получаю от него вести. Натали Шаховская и ее сестра<sup>[51]</sup> – Речь идет о двоюродных сестрах Чаадаева Н.Д. Шаховской и Е.Д. Щербатовой.] часто говорят со мною о тебе. Твои дети на днях приходили повидаться со мной. Я их обнял с чувством и счастья, и грусти.

Петр Чаадаев.

А. С. Пушкину

Первая половина ма<я><sup>[52]</sup> – Слова в треугольных скобках принадлежат публикатору,]

Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4. Твой Чаадаев.

А. И. Тургеневу

Москва. 25 мая

Вот, дорогой друг, письмо к барону Экштейну. Не знаю, где оно застанет вас, ибо вы мне пишете об отъезде, но не говорите мне, в какие страны света вы направляете свои шаги. Я промедлил с письмом к барону ввиду того, что гг. Наблюдатели<sup>[53]</sup> – Имеются в виду сотрудники журнала «Московский наблюдатель».] предполагали использовать его брошюру для своего журнала. Они ничего не сделали в этом смысле, а я тем временем откладывал писание со дня на день, чтобы иметь возможность сказать ему что-нибудь по этому поводу. Говорят, что мы находимся по соседству с Индией: не правда ли, что

Чаадаев П. письма filosoff.org  
мы проявляем отменное любопытство по отношению к индийским делам!

Скажите все это Экштейну, если эти письма придут в Париж до вашего отъезда. Вы пишете мне о целом ряде вещей, которые вы выслали Вяземскому и которые он должен был передать мне по прочтении. Я еще ничего из этого не получал. Ни «Молитвы господней», ни Лакордера. Кстати, надеюсь, что он в Риме примет меры, чтобы стать папой: я гарантирую ему благодать св. духа. Святой дух был всегда духом века, вот что следует понять хорошенько. Что в настоящее время нужно церкви, так это Гильдебранда, который столь же был бы проникнут духом своего времени, сколь тот был проникнут духом своего. Почему бы вашему Лакордеру не быть призванным к сему человеком? Глубокие вещи зарыты в демократическом элементе папства. Кто знает, быть может, грядущему конклаву суждено возродить церковь?

У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием Современник. Современник чего? XVI столетия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнять себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только. У Токвилля есть глубокая мысль, которую он украл у меня, а именно что точка отправления народов определяет их судьбы. У нас этого не хотят понять: а между тем в этом вся наша история. Поэтому более чем когда-либо: Да придет царствие твое. Княгиня Мещерская не менее меня жаждет получить хоть несколько строк Лакордера, что не мешает ей посылать вам дружеский привет. Будьте здоровы, мой друг.

Кн<ягине> С. Мещерской

15 октября 1836

Вот, княгиня, брошюра, которая для вас будет интересна, я в том уверен, – это моя статья, переведенная и напечатанная по-русски[54 – Речь идет об отриске «телескопской» публикации, который Чаадаев послал С.С. Мещерской, распространявшей духовно-нравственные книги в народе.]. Публичность схватила меня за ворот в то самое время, как я наименее того ожидал. Сначала вы найдете этот случай странным, без сомнения, но, подумавши, перемените мнение. В чем же, после всего, чудо, что идея, которой от рода скоро будет две тысячи лет, идея, преподаваемая, чтимая, проповедуемая тысячью высокими умами, тысячью святыми, наконец пробилась себе свет у нас? Не гораздо ли было страннее, если бы она никогда того не сделала? Если правда, что христианство в том виде, как оно соорудилось на Западе, было принципом, под влиянием которого там все развернулось и созрело, то должно быть, что страна, не собравшая всех плодов этой религии, хотя и подчинившаяся ее закону, до некоторой степени ее не признала, в чем-нибудь ошиблась насчет ее настоящего духа, отвергла некоторые из ее существенных истин. Последующего вывода никак, следовательно, нельзя было отделить от первоначального принципа, и то, что было причиной воспроизведения принципа, вынудило также и обнаружение последствия.

Говорят, что шум идет большой; я этому несколько не удивляюсь. Однако же мне известно, что моя статья заслужила некоторую благосклонность в известном слое общества. Конечно, не с тем она была писана, чтобы понравиться блаженному народонаселению наших гостиных, предавшихся достославному быту виста и реверси. Вы меня слишком хорошо знаете и, конечно, не сомневаетесь, что весь этот гвалт занимает меня весьма мало. Вам известно, что я никогда не думал о публике, что я даже никогда не мог постигнуть, как можно писать для такой публики, как наша: все равно что обращаться к рыбам морским, к птицам небесным. Как бы то ни было, если то, что я сказал, правда, оно останется; если нет, незачем ему оставаться.

Есть, княгиня, люди и вам знакомые, которые находят, что в интересе общественном полезно бы было воспретить автору пребывание в столице. Что вы об этом думаете? Не значит ли это слишком мало придавать значения интересу общественному и слишком много автору? По счастью, наше правительство всегда благоразумнее (plus avisé) публики; стало быть, я в доброй надежде, что не шумливые крики сволочи (coûte) укажут ему его поведение. Но если бы по какому случаю желание этих добрых людей исполнилось, я к вам приду, княгиня, просить убежища и таким образом узнаю то, что серьезные религиозные убеждения, самые разнородные, всегда симпатизируют друг с

другом.

А. И. Тургеневу

Не знаю, известно ли вам уже, мой друг, о домашнем обыске, которым меня почтили[55 - Речь идет об обыске, произведенном у Чаадаева в связи с «телескопской» публикацией в конце октября 1836 г.]. Забрали все мои бумаги. Мне остались только мои мысли: бедные мысли, которые привели меня к этой прекрасной развязке. Впрочем, я могу лишь одобрить похвальное любопытство властей, пожелавших ознакомиться с моими писаниями: от всего сердца желаю, чтобы это им пошло на пользу. Но не в этом дело. Во-первых: лишенный возможности продолжать мою работу, я скучаю, в первый раз в жизни. Самое удобное время для того, чтобы читать и учиться. Верните мне поэтому Штрауса[56 - Скорее всего, речь идет о книге немецкого философа Д. Штрауса «Жизнь Иисуса», в которой автор, исходя из учения Гегеля, критиковал ортодоксальное христианство и рассматривал евангельские предания лишь как памятники литературного творчества. «Во время появления и громкой знаменитости всем известной книги Штрауса, - замечает с известным преувеличением М.И. Жихарев, - весьма образованные и очень неглупые люди различных верований и убеждений говорили, что в России только один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение».], если возможно, и опровержения, которые вы мне обещали. Если у вас есть еще что-нибудь, какое-либо пространный сочинение, то не скупитесь и пришлите мне и его. Я не оставлю всего, а сделаю выбор. Не можете ли вы мне дать, например, книгу де Местра о Бэконе? Надеюсь, что не злоупотреблю вашей снисходительностью, если попрошу вас об этом. Затем второе. Не думаете ли вы, что будут удивлены, не найдя ваших писем в моих бумагах[57 - Видимо, предвидя репрессивные меры по отношению к автору напечатанного в «Телескопе» философического письма, А.И. Тургенев заранее забрал у него свои послания.]? Обдумайте поэтому, не будет ли в ваших интересах переслать их Бенкендорфу. Наконец, принуждены ли вы все еще сидеть дома? Если вы не в состоянии выходить, то я зайду к вам нынче вечером; а то, если можете, зайдите вы ко мне сегодня же утром. Да придет царствие твое.

А. И. Тургеневу

Мой добрый друг, я был очень огорчен, когда узнал, что вы дважды заходили ко мне и каждый раз не заставали меня. Но вам следовало бы подождать меня немножко в моем большом кресле; тут ли малость подремать или там - не все ли равно? Как видите, я иногда позволяю себе прогуляться вечером; я думаю, что безопасность государства от этого не пострадает. Впрочем, можно быть безумцем и все же гулять по вечерам. Вы ничего не велели сказать мне о том, придете ли вы завтра, в среду, обедать ко мне, мне необходимо знать это сегодня, а также придет ли Орлов или нет. Будьте здоровы, друг мой, и дайте, пожалуйста, ответ.

А. И. Тургеневу

Вот две из ваших книг. До меня дошел слух, что в публике толкуют, будто я пытался напечатать прославленный отрывок в Наблюдателе. Это явная ложь; редакторы журнала могут подтвердить это. Им отлично известно, что я не намеревался ничего печатать в их журнале, кроме двух писем, прочитанных на вечере у Свербеевой. Первое письмо было сообщено им исключительно для того, чтобы им было понятно дальнейшее. Говорят также, что я уже делал попытки напечатать оригинал у Семена. Опять-таки ложь. Рукопись, переданная Семену, состояла из двух писем об истории, в которых не было ничего, касающегося России. Она была цензурирована с большим благожелательством духовными цензорами от Троицы, и у меня есть их постановление по этому поводу. Расскажите это, пожалуйста, вашим знакомым. Вам понятно моральное значение всего этого. У меня нет демократических замашек, и я никогда не искал благорасположения толпы; но мне очень дорого мнение людей, почтивших меня своей дружбой.

Графу С. Г. Строганову

8 ноября 1836

Не знаю, известна ли вам, граф, прилагаемая книга [58 - имеется в виду изданная в 1833 г. книга И.И. Ястребцова «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу общества», в которой автор ссылаясь на Чаадаева как на источник своих основных мыслей. ]? Соболаговолите ее открыть на загнутой странице, вы в ней найдете главу, которая может послужить пояснением к статье, возбудившей против меня общественный крик. Мне показалось, что я хорошо сделаю, указавши вашему вниманию эти страницы, писанные под мою диктовку, в которых мои мысли о будущности моего отечества изложены в выражениях довольно определенных, хотя неполных, и которые не были нескромным образом вынуты из моего портфеля. Для меня очень важно в интересе моей репутации хорошего гражданина, чтобы знали, что преследуемая статья не заключает в себе моего *profession de foi*, а только выражение горького чувства, давно истощенного. Я далек от того, чтобы отречься от всех мыслей, изложенных в означенном сочинении; в нем есть такие, которые я готов подписать кровью. Когда я в нем говорил, например, что «народы Запада, отыскивая истину, нашли благополучие и свободу» я только парафразировал изречение спасителя: «ищите царствия небесного, и все остальное приложится вам», и вы понимаете, что это не одна из тех мыслей, которые бросаешь сегодня на бумагу, чтобы завтра стереть, но верно также и то, что в нем много таких вещей, которых я бы, конечно, не сказал теперь. Так, например, я дал слишком большую долю католицизму и думаю ныне, что он не всегда был верен своей миссии; я не довольно оценил стоимость элементов, которых у нас недоставало, и думаю теперь, что они намного содействовали сооружению нового общества; я не говорил о выгодах нашего изолированного положения, на которые я теперь смотрю, как на самую глубокую черту нашей социальной физиономии и как на основание нашего дальнейшего успеха; я не показал, что всеми, сколько есть прекрасных страниц в нашей истории, мы обязаны христианству, - факт, который в настоящее время послужил бы мне к опоре моей системы. Одним словом, если правда, что в настоящее время, в спокойствии моего духа, я исповедую некоторые из мнений, изложенных тому назад шесть лет под впечатлением тягостного чувства (*sentiment douloureux*); достоверно также, что много мыслей слишком абсолютных, много мнений слишком резких (мною тогда исповедуемых) ныне принадлежат мне только в таком смысле, как всякий поступок, нами совершенный, всякое слово, нами произнесенное, конечно, принадлежит нам до нашего последнего дня, потому что мы отдадим в них отчет верховному судье, что?; однако же, вовсе не предполагает, чтобы мы были в них ответственны перед людьми. Поэтому-то я и решился, как вам о том и говорил, сам возражать на свою статью, то есть рассматривать тот же вопрос с моей теперешней точки зрения [59 - Подразумевается замысел «Апологии сумасшедшего»]. Я слышал, что мне это ставят в вину. Но давно ли запрещено видоизменять свои мнения после такого длинного промежутка времени? Давно ли не дозволено уму человека идти вперед, когда ум человечества стремится бегом? Давно ли приказано существу мыслящему на веки веков остаться пригвожденным к одной мысли, подобно бессмысленному факиру? Не вы, конечно, сделаете мне этот упрек, вы, которого я нашел столько благосклонно расположенным к успеху доброго просвещения. Впрочем, какое мнение о всем этом вы себе ни составите, я мог обратиться только к вам: что я мог сказать тем, которые наложили на меня сумасшествие?

А. И. Тургеневу

Я только что узнал, дорогой друг, что вы скоро возвращаетесь. Это мне подало мысль попросить вас привезти мне несколько книг, которых здесь найти нельзя. Прежде всего, историю Гогенштауфенов Раумера и сочинения Гегеля. Я думаю, что ни то, ни другое произведение не запрещено. Вы возьмете их, конечно, у Грета, и вам не придется за них платить, так как у него открыт для меня кредит, к тому же у него, как мне кажется, еще лежит на комиссии одно из моих сочинений. Затем, не найдете ли вы английский религиозный кипсек и исследование по философии индусов колеброка, перевод Тольтье. Наконец, привезите мне побольше французских и немецких каталогов. После этого мне остается только пожелать вам всего лучшего, но раз перо у меня в руках, то я еще добавлю несколько слов.

Передайте, пожалуйста, Мейендорфу, что я глубоко огорчен тем, что с ним

случилось, как бы ничтожно ни было это происшествие[60 – Вероятно, у Чаадаева при обыске нашли сочувственный отзыв на «телескопскую» публикацию А.К. Мейендорфа, бывшего офицера и давнего его приятеля, что и навлекло на него какие-то неприятности.]. Я надеюсь, что сумеют, наконец, дать должную оценку тому злосчастному обороту мысли, который сорвался совершенно бессознательно с его пера, и что в нем увидят лишь преувеличенный комплимент, которым принято награждать любого автора любой рукописи. Нет человека, который более чем Мейендорф расходился бы со мной во взглядах. Во всей этой истории, которая приняла такой серьезный оборот, нет и следа серьезных убеждений, кроме убеждений самого автора, да и то убеждений более философского характера, уже отчасти проржавевших и готовых уступить место более современным, более национальным. Во всяком случае, из всех печальных последствий моей наивной уступчивости более всего огорчают меня беспокойства, причиняемые другим. Меня часто называли безумцем, и я никогда не отрекался от этого звания и на этот раз говорю – аминь, – как я всегда это делаю, когда мне на голову падает кирпич, так как всякий кирпич падает с неба. И вот я снова в своей фиваиде, снова челнок мой пристал к подножию креста, и так до конца дней моих; скажу еще раз: «буди, буди».

Пусть я безумец, но надеюсь, что Пушкин примет мое искреннее приветствие с тем очаровательным созданием, его побочным ребенком, которое на днях дало мне минуту отдыха от гнетущего меня уныния[61 – Речь идет о «Капитанской дочке»]. Скажите ему, пожалуйста, что особенно очаровало меня в нем его полная простота, утонченность вкуса, столь редкие в настоящее время, столь трудно достижимые в наш век, век фатовства и пылких увлечений, рядящийся в пестрые тряпки и валяющийся в мерзости нечистот, подлинная блудница, в бальном платье и с ногами в грязи. Иван Иванович[62 – Имеется в виду И.И. Дмитриев.] находит, что старый немецкий генерал был бы удачнее в качестве исторического лица, ведь эпоха-то глубоко историческая; я, пожалуй, с ним согласен, но это мелочь. Скажите еще Пушкину, что я погружен в историю Петра Великого, читаю Голикова и счастлив теми открытиями, которые я делаю в этой неведомой стране. Было вполне естественно для меня укрыться у великого человека, который кинул нас на Запад, и просить его защиты; но, признаюсь, я не ожидал найти его ни таким гигантом, ни столь расположенным ко мне.

Ну, будьте здоровы. Меня заливают сплетни: это ваша область; придите же и скажите этому морю: «стой, не далее!» Ваше повеление, конечно, будет исполнено, и я с тем большим удовольствием вас обниму.

Безумный.[63 – Безумный – так Чаадаев подписывался некоторое время после официального наказания за напечатание первого философического письма.]

NB. Нельзя ли найти в Петербурге портрет Беррье? Сегодня утром я прочитал его речь в парламенте, и седая голова моя склонилась перед этим грозным словом.

1837

Л. М. Цынскому[64 – Написанное по-русски послание к московскому обер-полицеймейстеру Цынскому связано с различными неприятностями Чаадаева после публикации первого философического письма. Среди слухов, усугублявших его подавленное состояние, выделялись двусмысленные разговоры о «даме» и ее взаимоотношениях с автором публикации. В конце 1836 г. московское губернское правление освидетельствовало умственные способности Е.Д. Пановой по настоятельной просьбе мужа, пожелавшего поместить ее в лечебное заведение для душевнобольных. Когда до Чаадаева дошли отклики об ответах Пановой на предложенные ей вопросы, он через пристава испросил разрешение явиться к московскому обер-полицеймейстеру, которому сделал письменно следующее заявление: "...коллежская секретарша Панова вс время свидетельствования ее губернским правлением в умственных способностях рассказывала в присутствии, что она республиканка и что во время войны в 1831 году она молилась за поляков, и тому подобные вздоры говорила», а потому он опасается, чтобы «по прежним его с Пановой связям правительство не заключило, что он причиною внушения ей подобного рода мыслей, так как философические письма, напечатанные в „Телескопе“, были писаны к ней». Не удовлетворившись таким заявлением, Чаадаев отправил Цынскому нижеследующее

Чаадаев П. письма filosoff.org

послание с более пространными объяснениями, что же касается Пановой, то ее поместили на время в сумасшедший дом. Следы же дальнейшего ее жизненного пути теряются. Но кое-что известно из последних, не менее драматических лет жизни адресата философических писем. Внук А. Д. Улыбышева Н. Вильде рассказывал, что, проводя лето в нижегородском родовом имении умершего деда, с любопытством и страхом проходил мимо ветхой избы, где жила старая безногая женщина, которую бабушка презрительно и насмешливо называла «философкой», а то и просто сумасшедшей. «Философка» (а ею оказалась Е.Д. Панова) много лет находилась в разладе с братом, смертельно враждовала с его женой, а вот теперь приехала к ней в простой телеге, без копейки денег, имея при себе лишь костыли, и чуть ли не на коленях умоляла о помощи и пристанище. Судя по всему, она не долго прожила в старом домике, куда ей носили обед с барского стола. «Где она умерла? – вопрошает Вильде. – В больнице для умалишенных, или в каком-нибудь нищем доме, или из милости у чужих людей? Где ее могила?»]

Милостивый государь, Лев Михайлович.

Несколько слов, написанных мною вчера у вашего превосходительства об моих сношениях с госпожою Пановой, мне кажется, недостаточны для объяснения этого обстоятельства, и потому позвольте мне объяснить вам оное еще раз. Я познакомился с госпожою Пановой в 1827 году в подмосковной, где она и муж ее были мне соседями. Там я с нею видался часто, потому что в бездействии находил в этих свиданиях развлечение. На другой год, переселившись в Москву, куда и они переехали, продолжал с нею видаться. В это время господин Панов занял у меня 1000 руб., и около того же времени от жены его получил я письмо, на которое отвечал тем, которое напечатано в «Телескопе», но к ней его не послал, потому что писал его довольно долго, а потом знакомство наше прекратилось. Между тем срок по векселю прошел, и я не получил ни капитала, ни процентов. Спустя, кажется, еще год подал я вексель ко взисканию и получил от госпожи Пановой другое письмо, довольно грубое, в котором она меня упрекала в моем поступке. В 1834 году передал я вексель купцу Лахтину за 800 руб. Все это время я не видался с ними и даже не знал, где они находятся. Прошлого года госпожа Панова вдруг известила меня, что она здесь, и с легкомыслием объявила мне, что вексель будучи выплачен, она желает возобновить со мной знакомство, на что я отвечал, что готов ее видеть. Тогда она приехала ко мне с мужем и тут впервые узнала о существовании письма, к ней написанного и давно всем известного. Мы в это время еще раза два виделись; потом она уехала в Нижний, и более я ее не видал. Надобно еще знать, что прочие, так называемые мои философические, письма написаны как будто к той же женщине, но что г. Панова об них никогда даже не слыхала.

Что касается до того, что эта несчастная женщина теперь в сумасшествии говорит, например, что она республиканка, что она молилась за поляков, и прочий вздор, то я уверен, что если спросить ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она, несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает себя бессмертною и в припадках бьет людей, конечно, скажет, что нет. Сверх того, и муж ее то же может подтвердить.

Все это пишу к вашему превосходительству потому, что в городе много говорят об моих сношениях с нею, прибавляя разные нелепости, и потому, что я, лишенный всякой огады, не имею возможности защитить себя ни от клеветы, ни от злонамерения. Впрочем, я убежден, что мудрое правительство не обратит никакого внимания на слова безумной женщины, тем более что имеет в руках мои бумаги, из которых можно ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения ныне бредствующих умствователей.

Честь имею быть,

милостивый государь,

с истинным почтением

вашего превосходительства

покорнейший слуга Петр Чаадаев.

1837, января 7

М. Я. Чаадаеву[65 – Написанное по-русски послание к брату, безвыездно жившему с 1834 г. до конца жизни в нижегородском имении Хрипуново, является пристрастным (поскольку Чаадаев преуменьшает свою роль в напечатании первого философического письма) разъяснением «телескопской» истории.]

Благодарю тебя, любезный брат, за твое доброе участие в моем приключении. Я никогда не сомневался в твоей дружбе, но в этом случае мне особенно приятно было найти ее новое доказательство. Ты желаешь знать подробности этого странного происшествия, для того чтоб мне быть полезным; наперед тебе сказываю, делать тут нечего, ни тебе и никому другому, но вот ведь как оно произошло. Издателю «Телескопа» попался как-то в руки перевод одного моего письма, шесть лет тому назад написанного и давно уже всем известного; он отдал его в цензуру; цензора не знаю как уговорил пропустить; потом отдал в печать и тогда только уведомил меня, что печатает. Я сначала не хотел тому верить, но, получив отпечатанный лист и видя в самой чрезвычайности этого случая как бы намек провидения, дал свое согласие. Статья вышла без имени, но тот же час была мне приписана или, лучше сказать, узнана, и тот же час начался крик. Чрез две недели спустя издание журнала прекращено, журналист и цензор призваны в Петербург к ответу; у меня по высочайшему повелению взяты бумаги, а сам я объявлен сумасшедшим. Поражение мое произошло 28-го октября, следовательно, вот уже три месяца, как я сошел с ума. Ныне издатель сослан в Вологду, цензор отставлен от должности, а я продолжаю быть сумасшедшим. Теперь, думаю, ясно тебе видно, что все произошло законным порядком и что просить не о чем и некого.

Говорят, что правительство, поступив таким образом, думало поступить снисходительно; этому очень верю, ибо нет в том сомнения, что оно могло поступить несравненно хуже. Говорят также, что публика крайне была оскорблена некоторыми выражениями моего письма, и это очень может статься; странно, однако ж, что сочинение, в продолжение многих лет читанное и перечитанное в подлиннике, где, разумеется, каждая мысль выражена несравненно сильнее, никогда никого не оскорбляло, в слабом же переводе всех поразило! Это, я думаю, должно отчасти приписать действию печати: известно, что печатное легче разбирать писаного.

Вот, впрочем, настоящий вид вещи. Письмо написано было не для публики, с которою я никогда не желал иметь дела, и это видно из каждой строки оно; вышло оно в свет по странному случаю, в котором участие автора ничтожно; журналист, очевидно, воспользовался неопытностью автора в делах книгопечатания, желая, как он сам сказывал, «оживить свой дремлющий журнал или похоронить его с честью»; наконец, дело все принадлежит издателю, а не сочинителю, которому, конечно, не могло прийти в голову явиться перед публикою в дурном переводе, в то время как он давным-давно пользовался на другом языке, и даже не в одном своем отечестве, именем хорошего писателя. Итак, правительство преследует не поступок автора, а его мнения. Тут естественно приходит на мысль то обстоятельство, что эти мнения, выраженные автором за шесть лет тому назад, может быть, ему вовсе теперь не принадлежат и что его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об этом, по-видимому, правительство не имело времени подумать и даже второпях не спросило автора, признает ли он себя автором статьи или нет. Правда, что при всем том на авторе лежит ответственность за согласие, легкомысленно им данное, то есть за одни эти слова: «пожалуй, печатайте»; но спрашивается: могут ли одни эти слова составить «corpus delicti»[66 – Corpus delicti – состав преступления (лат.)], и если могут, то соразмерно ли наказание с преступлением? На это, думаю, отвечать довольно трудно.

Что касается до моего положения, то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков, ex officio[67 – Ex officio – по обязанности (лат.)] меня навещающих. Один из них, пьяный частный штаб-лекарь, долго ругался надо мною самым наглым образом, но теперь прекратил свои посещения, вероятно по предписанию начальства. Приятели мои посещают меня довольно часто, и некоторые из них поступают с редким благородством; но всего утешительнее для меня дружба моих милых хозяев[68 – ...дружба моих милых хозяев – Левашевых.]. Бумаг по сих пор не возвращают, и это всего мне чувствительнее, потому что в них находятся труды всей моей жизни, все, что составляло цель ее. Развязки покамест не предвижу, да и признаться, не разумею, какая тут может быть развязка? Сказать человеку «ты с ума сошел»

Чаадаев П. Письма filosoff.org

немудрено, но как сказать ему «ты теперь в полном разуме»? Окончательно скажу тебе, мой друг, что многое потерял я невозвратно, что многие связи рушились, что многие труды останутся неоконченными и, наконец, что земная твердость бытия моего поколеблена навеки.

С. Л. Пушкину

Очень благодарю вас, дорогой Пушкин, за вашу память обо мне. Позвольте мне оставить у себя до завтра письмо Жуковского[69 – Речь идет об известном письме Жуковского к С.Л. Пушкину, где рассказывается о кончине поэта.]. Мне хочется показать его Орлову, одному из самых горячих поклонников нашего славного покойного. Мне только что вернули мои бумаги, среди которых я нашел письмо Александра, пробудившее вновь все мои сожаления. Это письмо – единственное, сохранившееся из всех многочисленных писем, которые он писал мне в разные эпохи своей жизни, и я счастлив, что нашел его. Итак, до завтра с письмом Жуковского.

Искренно преданный вам

Чаадаев.

И. Д. Якушкину

19 октября 1837

Тому год назад, мой друг, что я писал к тебе[70 – Возможно, речь идет о послании, черновик которого с датой 2 мая 1836 г. сохранился в архиве Чаадаева (см. прим. 1 к письмам 1836 г.)]; это было в то самое время, как мы узнали, что вы скоро будете перемещены и что вперед можно будет с вами переписываться. Я тебя скромно поздравлял с этим видоизменением в твоём положении и просил тебя дать нам о себе известий. По несчастью, это письмо затерялось два раза самым странным образом: в первый раз по милости ревнивой любви твоей свекрови[71 – Имеется в виду теща Якушкина Н.Н. Шереметева.], страстно берегущей монополию твоей дружбы, во второй – вследствие случившегося со мной в это время приключения, которое я тебе поскорее перескажу, чтобы с этим сразу покончить и очистить совесть. Дело в том, что с некоторого времени я начал писать о различных религиозных предметах. В продолжение долгого уединения, наложенного мною на себя по возвращении из-за границы, то, что я писал, оставалось неизвестным; но как только я покинул мою Фиваиду и снова появился в свете, все мое маранье сделалось известным и скоро приобрело тот род благосклонного внимания, который так легко отдается всякому неизданному сочинению. Мои писанья стали читать; их переписывали; они сделались известны вне России, и я получил несколько лестных отзывов от некоторых литературных знаменитостей. Некоторые отрывки из них были переведены на русский язык; появилась даже серьезная книга, вся исполненная моими мыслями, которые мне откровенно и приписывали[72 – Подразумевается уже упоминавшаяся в послании 1836 г. к С.Г. Строганову книга И.И. Ястребцова.]. Но вот, в один прекрасный день, один московский журналист, журнал которого печально перебивался, усмотрев, не знаю где, одну из моих самых горячих страниц, получил, не знаю как, позволение цензора и поместил ее в свой журнал. Поднялся общий шум; издание журнала прекращено, редактор сначала потребован в Петербург, потом сослан в Вологду; цензор отставлен от должности, мои бумаги захвачены, и наконец я сам, своей особой, объявлен сумасшедшим.....и по особенной милости, как говорят. Итак, вот я сумасшедшим скоро уже год, и впредь до нового распоряжения. Такова, мой друг, моя унылая и смешная история. Ты понимаешь теперь, отчего мое письмо до тебя не дошло. Дело в том, что оно приняло совершенно другую дорогу и что я его больше не видал[73 – Чаадаев намекает на перлюстрацию письма и его задержку в III Отделении.]. Я, впрочем, льщу себя надеждой, что оно не совсем осталось без плода для тех, кому оно попало законной добычей, потому что, если я не ошибаюсь, в нем заключались вещи, годные для их личного вразумления. Поговорим теперь о другом.

Тебе, без сомнения, известно, что твоя двоюродная сестра[74 – ...твоя двоюродная сестра... – Е.Г. Левашева.], от времени до времени, показывает мне твои письма; твоя свекровь, когда на меня не дует, также сообщает мне

Чаадаев П. письма filosoff.org

те, которые ты к ней пишешь: стало быть, я довольно знаю о всем, что тебе касается. Я знаю, с каким благородным мужеством ты сносишь тяжесть своей судьбы; я знаю, что ты предаешься серьезному изучению, и удивляюсь многочисленным и твердым знаниям, приобретенным тобою в ссылке. Не могу тебе выразить, сколько я всем этим счастлив и сколько я горжусь, что так хорошо тебя угадывал. Есть старое изречение, мой друг, несколько, впрочем, отзывающееся язычеством, а именно что нет прекраснее зрелища, как зрелище мудреца в борьбе с противным роком; но меня еще более увлекает исполненный ясности взгляд, который ты устремляешь на мир из своего безотрадного одиночества. Вот чего высокомерная древность не умела открыть – и что верный ум естественным образом находит в наше время. Однако же хоть я и не знаю, какие теперь твои религиозные чувствования, но, признаюсь тебе, не могу поверить, чтобы к этому душевному спокойствию ты пришел путем того оледеняющего деизма, который исповедовали умы твоей категории тогда, когда мы расстались. Изучения, которым ты с тех пор отдавался, должны были тебя привести к серьезным размышлениям над самыми важными вопросами нравственного порядка, и невозможно, чтобы ты окончательно остался при том малодушном сомнении, дальше которого деизм никогда шагнуть не может. К тому же естественные науки в настоящее время далеко не враждебны религиозным верованиям; поэтому я ласкаю себя надеждой, что ясность твоего понимания скоро даст тебе увидеть те истины, к которым они тяготеют. Я даже должен тебе сказать, что в том затерянном письме, о котором я тебе сейчас говорил, я уже себе позволил, по случаю книги Беккереля, которая должна была сопровождать это письмо, мимоходом заметить тебе, что все недавние открытия в науке, открытия по части электричества в особенности, служат к поддержке христианских преданий, подтверждают космогоническую систему Библии. Когда-нибудь мы опять воротимся к этим предметам, но до того я бы хотел знать, известны ли тебе сочинения Кювье, потому что ничто не может нам служить лучшею точкою отправления в наших философских рассуждениях, как его геологические труды. В первый раз, как будешь ко мне писать, скажи мне об этом.

Прошу у тебя извинения, мой друг, в том, что это первое мое письмо все наполнено моими обычными помыслами (preoccupations), но ты понимаешь, что в теперешнее время мне труднее, чем когда-либо, освободиться от влияния идей, составляющих весь интерес моей жизни, единственную опору моего опрокинутого существования. Я далек, однако же, от мысли навязывать тебе свои мнения; мне известен склад твоего ума, и я очень хорошо знаю, что ни годы, ни размышление, ни опыт жизни, по которой прошло неизмеримое бедствие и неизмеримое поучение, не в состоянии существенно видоизменить ум, подобный твоему; но я знаю также, что время, в которое мы живем, слишком проникнуто тем возрождающим током (fluidité générale), который произвел уже столь удивительные результаты во всех сферах человеческого знания, чтобы твой ум, как бы он ни был географически удален от всяких очагов умственного движения, мог остаться совершенно чуждым его влиянию. Ты, как только мог, следовал за ходом современных идей: пробегаемая тобою орбита, несмотря на всю ее эксцентричность, все-таки определяется законом всемирного тяготения всех предметов к одному центру и освещается тем же самым солнцем, которое сияет на все человечество; стало быть, ты не мог много отстать от остального мира. Но как бы то ни было, конечно, в одном ты будешь одинакового со мною мнения, а именно что мы не можем сделать ничего лучшего, как держаться, сколько то возможно, в области науки; в настоящее время мне ничего больше и не надо. Прощай же, мой друг.

А. И. Тургеневу [75 – Это послание к А.И. Тургеневу написано по-русски.]

С истинным удовольствием прочел я, мой друг, твое сочинение. Мне чрезвычайно приятно было видеть, с какою легкостью ты обнял этот трудный предмет, присвоил себе все новейшие открытия науки и приложил их к нему. Отрывок твой, по моему мнению, отличается новостью взгляда, верностью в главных чертах и занимательным изложением; но я не могу не сделать некоторых замечаний на последние строки, где ты касаешься вещей, для меня весьма важных, и излагаешь такие мнения, которых мне никак нельзя оставить без возражения. Впрочем, я доволен и этими строками, потому что и в них вижу то новое благое направление всеобщего духа, за которым так люблю следовать и которое мне столь часто удавалось предупреждать. Итак, приступим к делу.

Ты, по старому обычаю, отличаешь учение церковное от науки. Я думаю, что их

отнюдь различать не должно. Есть, конечно, наука духа и наука ума, но и та и другая принадлежат познанию нашему, и та и другая в нем заключаются. Различны способ приобретения и внешняя форма, сущность вещи одна. Разделение твое относится к тому времени, когда еще не было известно, что разум наш не все сам изобретает и что, для того только, чтоб двинуться с места, ему необходимо надобно иметь в себе нечто, им самим не созданное, а именно орудия движения, или, лучше сказать, силу движения. Благодаря новейшей философии, в этом, кажется, ни один мыслящий человек более не сомневается: жаль, что не всякий это помнит. Вообще, это ветхое разделение, которое противопоставляет науку религии, вовсе не философское, и позволь мне также сказать, несколько пахнет XVIII столетием, которое, как тебе самому известно, весьма любило провозглашать неприступность для ума нашего истин веры и, таким образом, под притворным уважением к учениям церкви скрывало вражду свою к ней. Отрывок твой написан совершенно в ином духе, но по тому самому противоречие между мыслию и языком тем разительнее. Впрочем, надо и то сказать, с кем у нас не случается мыслить современными мыслями, а говорить словами прошлого времени и наоборот? и это очень естественно: как нам поспеть всеми концами вокруг нашего огромного, несвязного бытия за развитием бытия тесно сомкнутого, давно устроенного народов Запада, потомков древности? – Невозможно.

События допотопные, рассказанные в книге Бытия, как тебе угодно, совершенно принадлежат истории, разумеется мыслящей, которая, однако ж, есть одна настоящая история. Без них шестие ума человеческого неизъяснимо; без них всякий подвиг искупления не имеет смысла, а, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики; все тьма и бессмыслица. Как понять, например, происхождение ума человеческого и, следовательно, его закон, если не предположить, что человек вышел из рук творца своего не в том виде, в каком он себя теперь познает? К тому же должно заметить, что пред чистым разумом нет повествования, достовернее нам рассказанного в первых главах Священного писания, потому что нет ни одного столь проникнутого той истиной неприменной, которая превышает всякой другой истины, а особенно всякой просто исторической. Конечно, это рассказ, и рассказ весьма простодушный, но вместе с тем и высочайшее умозрение, и потому поверяется не критикою обыкновенною, а законами разума. Наконец, если сказание библейское о первых днях мира есть не что иное для христианина, как песнопение вдохновенного свидетеля мироздания, то для исследователя древности оно есть древнейшее предание рода человеческого, глубоко постигнутое и стройно рассказанное. Как же может оно принадлежать одному духовному учению, а не истории вообще? И выбросить его из первобытных летописей мира – не значит ли то же, что выбросить первое действие из какой-нибудь эпопеи? Да и как можно в начальном учении, где каждый пропуск невозвратен, где каждое слово имеет отголосок по всей жизни учащегося, не говорить на своем месте, то есть в истории сотворения, о первой, так сказать, встрече человека с богом, то есть о сотворении его умственного естества? Как можно приступить к истории рода человеческого, не сказав, откуда взялся род человеческий? Как можно начать науку со второй или с третьей главы этой науки?

Молодой ум, который желаешь приготовить к изучению истории, должно так направить, чтобы все последующие его понятия, к этой сфере относящиеся, могли необходимым образом проистекать из первоначальных понятий, а для этого, мне кажется, надобно непременно говорить обо всем там и тогда, где следует; иначе ни под каким видом не будет логического развития. Вспомни, в какое время ум человеческий приобрел те власти, те орудия, которыми нынче так мощно владеет. Не тогда ли, когда все основное учение было учение духовное, когда вся наука созидалась на теологии, когда Аристотель был почти отец церкви, а св. Ансельм Кентерберийский – знаменитейший философ своего времени? Конечно, нам нельзя, каждому у себя дома, все это переначать; но мы можем воспользоваться этими великими поучениями, но мы не должны добровольно лишать себя богатого наследия, доставшегося нам от веков протекших и от народов чуждых. Кто-то сказал, что нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада [76 – Чаадаев цитирует одно из своих положений в первом философическом письме.]. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно и почти не оставляя по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенно не знаем

ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенной мыслию. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед подвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время и, таким образом, очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать со всевозможною логическою строгостию и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда, может быть, перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас по сих пор водилось; тогда раскроются понемногу все силы гибких и зорких умов наших; тогда родятся у нас и глубокомыслие, и стройная дума: тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте и наконец сравняемся, не только по наружности, но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статья, и быстро перегоним их, потому что мы имеем пред ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены, подобно им, тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов.

Ты говоришь еще, что должно в молчании благоговеть пред премудростию божиею. Не могу не сказать тебе, мой друг, что и это также не что иное, как обветшалый оборот прошлого столетия. Благоговеть пред премудростию божиею, конечно, должно, но зачем в молчании? Нет, должно чтить ее не с безгласным, а с полным разумением, то есть с глубокою мыслию в душе и с живым словом на устах. Премудрость божия никогда не имела в виду соделывать из нас бессловесных животных и лишать нас того преимущества, которое отличает нас от прочих тварей. Откровение не для того излилось в мир, чтобы погрузить его в таинственную мглу, а для того, чтоб озарить его светом вечным. Оно само есть слово; слово же вызывает слово, а не безмолвие. Скажи, где написано, что властитель миров требует себе слепого или немого поклонения? Нет, он отвергает ту глупую веру, которая превращает существо разумное в бессмысленную тварь; он требует веры, преисполненной зрением, гласа и жизни. Се же есть живот вечный, говорит апостол, да знают тебе единого бога[77 – Евангелие от Иоанна, XVII, 3. Чаадаев передает евангельские слова в измененном виде.]. Если же вера есть не что иное, как познание божества, то сам посуди, не сущее ли богохулие именем веры проповедовать бессмыслие?

В заключение скажу, никак не должно забывать, что разум наш не из одного того составлен, что он сам открыл или выдумал, но изо всего того, что он знает. Какое до того дело, откуда и каким образом это знание в него проникло? Иное он приобрел несознательно, а теперь постигает с полным сознанием; другое усвоил себе вековыми усилиями и трудами, а ныне пользуется им механически; но и то и другое принадлежит ему неотъемлемо, и то и другое вошло навсегда в его состав. Одним словом, разум, или, лучше сказать, дух, один на небеси и на земли; невидимые излияния мира горьнего на дольний, с первой минуты сотворения того и другого, никогда не прекращаясь, всегда сохраняли между ними вечное тождество; когда же совершилось полное откровение или воплощение божественной истины, тогда совершилось также и сочетание обоих миров в одно неразделимое целое, которое в сущности своей никогда более раздроблено быть не может, ни умозрением надменной мечтательности, ни строптивым своеволием ума, преисполненного своею личностию, ни произвольным отречением развращенного сердца. Всемирный дух, обновленный новою высшею мыслию, ее более отвергнуть не в силах, ею дышит, ею живет, ею руководствуется и, вопреки всех восстаний разнородных титанов, деистов, пантеистов, рационалистов и прч., торжественно продолжает путь свой и влечет за собою род человеческий к его высокой цели.

Вот, мой друг, что я хотел тебе сказать; но еще раз повторяю, с особенным удовольствием прочел я твой занимательный отрывок и от всей души желаю, чтоб ты продолжал свой труд.

Безумный.

1837, октября 30

Орловым Чаадаев особенно сблизился в 30-е гг., когда они часто не только бывали друг у друга, но и встречались на салонных собраниях, балах, в Английском клубе. «Московские львы», как их называл Герцен, привлекали к себе всеобщее внимание.]

Да, друг мой, сохраним нашу прославленную дружбу, и пусть мир себе катится к своим неисповедимым судьбинам. Нас обоих треплет буря, будем же рука об руку и твердо стоять среди прибоя. Мы не склоним нашего обнаженного чела перед шквалами, свистящими вокруг нас. Но главным образом не будем более надеяться ни на что, решительно ни на что для нас самих. Ничто так не истощает, ничто так не способствует малодушию, как безумная надежда. Надежда, бесспорно, добродетель, и она одно из величайших обретений нашей святой религии, но она может быть подчас и чистейшей глупостью. Какая необъятная глупость, в самом деле, надеяться, когда погружен в стоячее болото, где с каждым движением тонешь все глубже и глубже. А потому из трех богословских добродетелей будем прилежать к двум первым, любви и вере, и станем молить бога простить нам, что мы отвыкли от третьей. Но все же будем надеяться о братьях наших, о наших детях, о священной родине нашей, столь великой, столь могущественной, столь спокойной! Что до нас, то если земля нам неблагоприятна, то что мешает нам взять приступом небо? Разве небо не удел тех, которые берут его силою? Правда, что по этому вопросу мы с вами расходимся во взглядах. Вы по несчастью верите в смерть; для вас небо неизвестно где, где-то там за гробом; вы из тех, которые еще верят, что жизнь не есть нечто целое, что она разбита на две части и что между этими частями – бездна. Вы забываете, что вот уже скоро восемнадцать с половиной веков, как эта бездна заполнена; одним словом, вы полагаете, что между вами и небом лопата могильщика. Печальная философия, не желающая понять, что вечность не что иное, как жизнь праведника, жизнь, образец которой завещал нам сын человеческий; что она может, что она должна начинаться еще в этом мире, и что она действительно начнется с того дня, когда мы взаправду пожелаем, чтоб она началась; философия, воображающая, что мир, окружающий нас, таков в своем реальном бытии и что его следует принять, и не видящая, что это нами созданный мир и что его следует уничтожить, которая только что не верит, как дети, что небо – это протянутая над нашими головами синь и что туда не влезешь! Печальная философия, печальное наследие веков, когда земля не была еще ни освящена жертвою, ни примирена с небом! Когда же, о боже мой! дождусь я того, чтоб все мои друзья отвергли наконец все это неведение языческой скверны? Когда же они узнают все, что есть только один способ быть христианином, а именно быть им вполне? Некогда я мечтал, что мне дано распространить среди них кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день нагрязнул ураган [79 – (Одно слово вырвано).], подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил уши и заглушил мой голос. Да будет воля твоя, о мой боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон, и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призывать милость неба на человечество и на родину. Я думал, что моя страна, юная, девственная, не испытывавшая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отвращающих умы от добрых и законных путей, чтоб бросить их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен будет принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней не затронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему божественному основателю, лишь молилось и смирялось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений. Химеры, мой друг, химеры все это! да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки, и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое.

1838

А. И. Тургеневу

Ты спрашиваешь у нашей милой К. А. [80 – Имеется в виду Е.А. Свербеева, приятельница Чаадаева и Тургенева.], зачем я не пишу, а я у тебя спрашиваю, зачем ты не пишешь? Впрочем, я готов писать, тем более что есть о чем, а именно о той книге, которую ты мне изволил прислать с этой непристойной припиской (тому, кому ведать надлежит [81 – Слова в скобках переведены с французского языка.]). По моему мнению, в ней нет и того достоинства, которое во всех прежних сочинениях автора находилось, достоинства слога. И немудрено: мысль совершенно ложная хорошо выражена быть не может. Я всегда был того мнения, что точка, с которой этот человек сначала отправился, была ложь, теперь и подавно в этом уверен. Как можно искать разума в толпе? Где видано, чтоб толпа была разумна? (что народ может иметь общего с разумом? [82 – Слова в скобках переведены с немецкого языка.]) – сказал я когда-то какому-то немцу. Приехал бы к нам ваш г. Ламене [83 – Труды французского философа оказали большое влияние на Чаадаева, которого А.И. Тургенев называл «московским Ламенне». Автора философических писем привлекало стремление Ламенне искать ответы на вопросы о происхождении, долге и судьбе человека не в собственном единичном сознании, а в лоне магистральных традиций, восходящих к началу всех времен. Чаадаев обнаруживал сходные устремления и в попытках найти точки соприкосновения и связи между христианством и новейшими проявлениями социально-культурной жизни, установить прочный союз религии и разума. Однако, как видно из нижеследующих строк, некоторые демократические положения философии Ламенне вызывали у него несогласие.] и послушал бы, что у нас толпа толкует; посмотрел бы я, как бы он тут приладил свой (глас народа, глас божий? [84 – Слова в скобках переведены с латинского языка.]). К тому же это вовсе не христианское исповедание. Каждому известно, что христианство, во-первых, предполагает жителство истины не на земли, а на небеси; во-вторых, что когда она является на земли, то возникает не из толпы, а из среды избранных или призванных. Для меня вовсе непостижимо, как ум столь высокий, одаренный дарами столь необычайными мог дать себе это странное направление, и притом видя, что вокруг него творится, дыша воздухом, породившим воплощенную революцию и нелепую (золотую середину [85 – Слова в скобках переведены с французского языка.]). Ему есть один только пример в истории христианства, Саванарола; но какая разница! Как тот глубоко постигал свое послание, как точно отвечал потребности своего времени! Политическое христианство отжило свой век; оно в наше время не имеет смысла; оно тогда было нужно, когда созидалось новейшее общество, когда вырабатывался новый закон общественной жизни. И вот почему западное христианство, мне кажется, совершенно выполнило цель, предназначенную христианству вообще, а особенно на Западе, где находились все начала, потребные для составления нового гражданского мира. Но теперь дело совсем иное. Великий подвиг совершен; общество сооружено; оно получило свой устав; орудия беспредельного совершенствования вручены человечеству; человек вступил в свое совершеннолетие. Ни эпизоды безналичия, ни эпизоды угнетения не в силах более остановить человеческий род на пути своем. Таким образом, бразды мироправления должны были естественным образом выпасть из рук римского первосвященника; христианство политическое должно было уступить место христианству чисто духовному; и там, где столь долго царили все власти земные, во всех возможных видах, остались только символ единства мысли, великое поучение и памятники прошлых времен. Одним словом, христианство нынче не должно иное что быть, как та высшая идея времени, которая заключает в себе идеи всех прошедших и будущих времен, и, следовательно, должно действовать на гражданственность только посредственно, властью мысли, а не вещества. Более, нежели когда, должно оно жить в области духа и оттуда озарять мир и там искать себе окончательного выражения. Никогда толпа не была менее способна, как в наше время, на то содействие, которое от нее ожидает и требует Ламене. Нет в том сомнения, что и нынче много дела делается и говорится на свете, но возможно ли отыскать глас божий в этом разногласном говоре мыслящего и не мыслящего народа, в этом порыве одной толпы к одному вещественному, другой – к одному несбыточному? Справедливо и то, что вечный разум повременно выражается в делах человеческих и что можно отчасти за ним следовать в истории народов, но не должно же принимать за его выражение возглас каждого сброда людей, который, мгновенно поколебавши воздух, ни малейшего по себе не оставляет следа. Одному своему приятелю вот что писал я об этой книге: («Во всем этом нет и тени христианства. Вместо того, чтобы просить у неба новых откровений, в которых могла бы нуждаться церковь для своего возрождения, этот ересиарх обращается к народам, вопрошает народы, у народов ищет истины! К счастью для него, а также и для народов, сии последние и не подозревают о существовании некоего падшего ангела, бродящего среди мрака, им самим вокруг себя созданного, и вопиющего к нам из глубины этого мрака:

„Народы, вставайте! вставайте во имя отца, и сына, и святого духа!“ Да, его мрачный вопль перепугал всех серьезных христиан и надолго отодвинул наступление окончательных выводов христианства; через него дух зла вновь попытался растерзать священное единство, драгоценнейший дар, данный религией человечеству; наконец, он сам разрушил то, что некогда сам же создал. Итак, предоставим этого человека его заблуждениям, его совести и милосердию божию, и пусть, если это возможно, поднятый им соблазн не ляжет на него слишком тяжким бременем!»[86 - Слова в скобках переведены с французского языка.]

Сейчас прочел я Вяземского «Пожар»[87 - Имеется в виду статья Вяземского о пожаре Зимнего дворца 17 декабря 1837 г., напечатанная в начале 1838 г. в «Cazette de France», а затем вышедшая в Париже отдельной брошюрой.]. (Я не представлял его себе ни таким отменным французом, ни таким отменным русским[88 - Слова в скобках переведены с французского языка.].) Зачем он прежде не вздумал писать по-бусурмански? не во гнев ему будь сказано, он гораздо лучше пишет по-французски, нежели как по-русски. Вот действие хороших образцов, которых, по несчастию, у нас еще не имеется. Для того, чтоб писать хорошо на нашем языке, надо быть необыкновенным человеком, надо быть Пушкину или Карамзину[89 - Я говорю о прозе, поэт везде необыкновенный человек.]. Я знаю, что нынче не многие захотят признать Карамзина за необыкновенного человека; фанатизм так называемой народности, слово, по моему мнению, без грамматического значения у народа, который пользуется всем избытком своего громадного бытия в том виде, в котором оно составлено необходимостью, этот фанатизм, говоря я, многих заставляет нынче забывать, при каких условиях развивается ум человеческий и чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способностями, сотворить себя хорошим писателем. (Действенность красноречия в одобрении слушателей[90 - Слова в скобках переведены с латинского языка.]), говорит Цицерон, и это относится до всякого художественного произведения. Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностию и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности! А между тем, как и всему чужому, знал цену и отдавал должную справедливость! Где это нынче найдешь? А как писатель, что за стройной, звучной период, какое верное эстетическое чувство! Живописность его пера необычайна: в истории же России это главное дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать. Нынче говорят, что нам до слога? пиши как хочешь, только пиши дело. Дело, дело! да где его взять и кому его слушать? Я знаю, что не так развивался ум у других народов, там мысль подавала руку воображению и оба шли вместе, там долго думали на готовом языке, но другие нам не пример, у нас свой путь.

(Чтобы вернуться к В.[91 - Слова в скобках переведены с французского языка.]), никто, по моему мнению, не в состоянии лучше его познакомить Европу с Россией. Его оборот ума именно тот самый, который нынче нравится европейской публике. Подумаешь, что он взрос на улице St. Нополе#769;, а не у Колымажного двора.

1839

Кн<ягине> С. Мещерской

27 мая 1839

Вы не поняли меня, княгиня, и это немало удивляет. Чтобы понять опровержение какого-либо сочинения, говорите вы, нужно быть знакомым с опровергаемым сочинением: совершенно справедливо. Поэтому я хочу в немногих словах познакомить вас с вопросом и изложить вам суть моей мысли. Но прежде всего я должен предупредить вас, что я считаю невозможным принять учение об одинаковой важности всего, находящегося в Писании. Работа здравой экзегезы научила меня различать в святой книге то, что является прямым воздействием св. духа, и то, что есть дело рук человеческих; поэтому боговдохновенность, покоящаяся на этом дивном произведении, не может сделать в моих глазах одинаково святым и ненарушимым каждое слово, каждый слог, каждую букву, к которым люди прибегли, чтобы передать мысль, которую дух святой вложил в

сердца их. Чтобы стать понятным для человеческого разума, божественное слово должно было пользоваться человеческим языком, а следовательно, и подчиниться несовершенствам этой речи. Подобно тому, как сын божий, став сыном человеческим, принял все условия плоти, дух божий, проявляясь в духе человеческом, также должен был принять все условия человеческой речи; но подобно тому, как спаситель не в каждом из актов своей жизни торжествует над плотью, но во всей своей жизни в ее целом, св. дух также торжествует над человеческой речью не в каждой строчке Писания, но в его целом. Говорить, что все в Библии, с начала до конца, – вдохновение, истина, учение – значит, на мой взгляд, в одно и то же время не понимать ни природы воздействия духа божия на дух человеческий, ни божественного начала христианства, которое в силу самой его божественности не всегда может быть с успехом замкнуто в букву сносимыми ею неизбежно видоизменениями. Нет, этого, конечно, я и не думал говорить. Не дай бог, чтобы я когда-нибудь вернулся к этим глубоким заблуждениям, причинившим столько зла человечеству[92 – Подразумеваются протестантские идеи и реформы.]! Кто же не знает, что именно этому чрезмерному благоговению перед библейским текстом мы обязаны всеми раздорами в христианском обществе? что, опираясь на текст, каждая секта, каждая ересь провозглашала себя единственной истинной церковью бога? что, благодаря тексту, придан был римскому первосвященнику титул видимого главы христианства, викария И. Х., и что с текстом же в руках оспаривали и донныне оспаривают его право на этот верховный сан?

И позвольте мне сказать вам, княгиня, что, на мой взгляд, путь через тексты далеко не самый прямой; мне думается, напротив, что это путь наиболее извилистый и наиболее длинный: свидетельством тому могут служить опять-таки вечные споры законников и богословов, которые вертятся всегда, как вам отлично известно, на букве Писания. Наиболее прямой путь, по мне, это путь хорошо дисциплинированного разума, руководимого ясной верою и свободного от всякого корыстного чувства. Текст удобен в том отношении, что он закрывает рот и принуждает склониться перед ним; посему он и был во все времена убежищем религиозной гордыни. А как хотите вы, чтоб гордость шла прямым путем? Это невозможно. Что касается до меня, то я, благодаренье небу, не богослов, не законник, а просто христианский философ, и только в качестве такового я взялся за перо, чтобы оспаривать мнения человека[93 – ...оспаривать мнения человека... – вероятно, А.И. Тургенева.], которого я люблю и уважаю, человека знающего, человека умного, но не философа, и полагающего, как многие другие, что вера и разум не имеют ничего между собою общего: вот та ошибка, которую я старался опровергнуть, вот весь предмет моего письма.

Наш друг утверждает, во-первых, что, при обучении истории, библейская космогония, то есть откровенная история создания мира, должна быть опущена, ибо, по его мнению, эта история относится к области веры, а не науки. Я постарался поэтому доказать, что история человеческого рода не имеет смысла, если не возводит ее к первым дням мира и к сотворению человека; что все неизбежно обратится в хаос и мрак в этой области человеческого познания, если мы не бросим на нее яркий свет глубоких истин и дивных символов, находящихся в книге Бытия. Переходя затем к сущности предмета, я сказал, что в задачи божественного основателя христианства никогда не входило навязывать миру немую и близорукую веру, как, по-видимому, предполагает автор; что, раз христианство есть слово и свет по преимуществу, оно естественно вызывает слово и распространяет возможно больший свет на все объекты интеллектуального воззрения человека; что оно не только не противоречит данным науки, но, напротив, подтверждает их своим высоким авторитетом, между тем как наука, в свою очередь, ежедневно подтверждает своими открытиями христианские истины; что христианство снабдило человеческий ум новыми и многочисленными орудиями, дав ему повод к безмерному упражнению в те времена, когда наиболее прославленные святые были в то же время и величайшими философами своего века; что, наконец, доказано, что наиболее плодотворными эпохами в истории человеческого духа были те, когда наука и религия шли рука об руку. Поэтому в страницах, прочтенных вами, я имел в особенности в виду прискорбную тенденцию увековечивать раскол между религией и наукой, установленный XVIII веком и о котором ни отцы церкви, ни учителя средневековья, эти гиганты религиозной мысли, не имели даже представления, тенденцию, в которой, к сожалению, доселе упорствуют многие выдающиеся и строго религиозные умы, несмотря на обратное направление нашего века в его целом, стремящегося, напротив, изо всех сил вернуться к приемам доброго времени твердых верований и слить в один поток света эти два великих маяка человеческой мысли.

Естественно, что я не могу повторить всего, что я сказал, но необходимо добавить еще несколько слов к этому изложению в кратких чертах того, что уже было мною раньше высказано. Да, Библия есть драгоценнейшее сокровище человечества; она – источник всякой моральной истины; она пролила на мир потоки света, она утвердила человеческий разум и обосновала общество; Библии род человеческий главным образом обязан теми благами, которыми он пользуется, и ей будет он, по всей вероятности, обязан и концом тех бед, которые еще тяготят над ним; но воздержимся от того, чтоб ставить писаное слово на высоту, которой оно не имеет, остережемся, как бы нам не впасть в поклонение, в идолопоклонство букве, в особенности же остережемся представления, что все христианство замкнуто в священной книге. Нет, тысячу раз нет. Никогда божественное слово не могло быть заточено между двумя досками какой-либо книги; весь мир не столь обширен, чтобы <не> объять его; оно живет в беспредельных областях духа, оно содержится в неизреченном таинстве евхаристии, на непреходящем памятнике креста оно начертало свои мощные глаголы.

Как видите, княгиня, эти строки содержат полное исповедание веры. Благодарю вас за то, что вы дали мне случай исповедать оную, и в особенности в обращении к вам. Мои религиозные взгляды, подвергаемые нелепейшим толкованиям в наших гостиных, нуждались в формулировке, хоть сколько-нибудь точной и определенной, и, раз это сделано, они не могли бы найти лучшего судью, чем вы, вся жизнь которой посвящена была осуществлению искренней и просвещенной религии.

В. А. Жуковскому[94 – Послание к Жуковскому написано по-русски.]

Полагаю, любезный Василий Андреевич, что вы не забыли своего обещания прислать мне хотя список с письма Пушкина, написанного ко мне в то время, как вышла моя глупая статья, и ко мне не дошедшего[95 – Имеется в виду неотправленное письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. с возражениями на ряд положений «телескопской» публикации.]. М. М. Сонцев был близкий человек покойному[96 – М.М. Сонцев был женат на тетке Пушкина Елизавете Львовне.]; потому и воспользовался я его отъездом в Петербург, чтоб вам об этом напомнить. Все, что относится до дружбы нашей с Пушкиным, для меня драгоценно, и никто лучше вас этого не поймет, но, разумеется, невозможного я не желаю, и если письмо это еще не у вас в руках, то делать нечего. Прошу вас, однако ж, употребить все возможное старание мне его доставить. Не забудьте, что это последнее его ко мне слово.

Думаю, что у вас и голова и сердце полны впечатлениями вашего путешествия; и так вам не до разговоров со мною. Пришлите письмо, если возможно; если же нет, то скажите М. М., что прислать нельзя, и больше ничего. А затем прощайте, любезный Василий Андреевич.

Препокорный ваш Петр Чаадаев.

Москва, июня 5-го

1840

С. П. Шевыреву[97 – Послание к Шевыреву написано по-русски. С Шевыревым, как и с другим профессором Московского университета – М.П. Погодиным, издававшими журнал «Москвитянин», Чаадаев, несмотря на идейные разногласия, находился в достаточно ровных приятельских отношениях и часто обсуждал с ними разные исторические и литературные вопросы. «Они люди добрые и честные, – писал он А.И. Тургеневу, пожелавшему сотрудничать в „Москвитянин“. – Шевырев особенно совершенно благородный человек. То же можно сказать о Погодине».]

Милостивый государь Степан Петрович.

На этих днях узнал я, что стихотворение г. Ростопчиной, о Москве[98 – Речь идет о стихотворении Е.П. Ростопчиной «Вид Москвы».], произвело в кругу

Чаадаев П. Письма filosoff.org

здешних литераторов некоторый соблазн и что М. П. Погодин намерен был даже его отослать графине. Посылая вам его, я не предвидел, что унылое чувство поэта, внушенное ему безлюдностью родной стороны, оскорбит москвитян[99 – Имеются в виду сотрудники журнала «Москвитянин».] и уверен был, что оно дышит любовью к родине, хотя и не тою самою, которая нынче в моде. Если я ошибся, то виноват я, а не графиня, не имевшая намерения печатать своих стихов в «Москвитянин». Итак, прошу вас, если это еще возможно, возвратить мне эти стихи. Кажется, таким образом всему делу будет конец. Впрочем, я уверен, что ни графиня, ни я не заслужили в этом случае вашей личной немилости, а этого с нас обоих довольно.

С истинным почтением имею честь быть

вам преданный П. Чаадаев.

Сентября 22.

1841

А. И. Тургеневу[100 – послание к А. И. Тургеневу написано по-русски.]

Вот Батюшков, которого ты знаешь; стало быть, дело не о нем. Но есть в Париже русской, человек необыкновенного ума, по имени Сазонов, которого, к крайнему моему удивлению, не знаешь. Он находится в Париже по препоручению министра г. имуществ, след., официальной человек (и вы не рискуете, мой милый, несчастный либерал, компрометировать себя, оказывая ему услугу[101 – Слова в скобках переведены с французского языка.]). Найди его и постарайся ему пригодиться. За Галахова благодарен. Здесь все живы и здоровы; народность преуспевает; по улицам разъезжают тройки с позвонками, лапотный элемент в полном развитии; ежедневно делаем новые открытия, открываем славян повсюду; на днях вытолкаем из миру все неединокровное. – За сим прощай. Кланяйся брату, Экштейну, Голицыну, Гагарину, Сиркуру, Теплякову.

Свербеева в деревне, была здесь недавно; мила по-прежнему. В будущем месяце переселюсь в ее сторону на остаток дней.

Кн<ягине> С. Мещерской

Декабрь 1841

Бесспорно, княгиня, весьма интересно то, что сообщает нам в своей книге достопочтенный J. о новом направлении в английской церкви. Надо благословлять небо, внушающее различным христианским исповеданиям мысль о взаимном сближении. Учтивый тон речи, столь непохожий на тот, который раньше употреблялся при обсуждении подобных вопросов, умеренность в обвинениях, выставляемых против чужих верований, наконец, дух любви, характеризующий эту маленькую книжку, вполне заслуживают наших симпатий. Мне кажется, что можно возлагать большие надежды на это новое направление, которое принимают в наши дни религиозные взгляды в некоторых странах, но должен признаться вам, что я желал бы, чтоб прения возникли на другой почве. Я думаю, что лучший способ оценить какое-либо начало, получившее господство в мире, это взглянуть на плод, который оно принесло; сводить вопрос на чисто богословский вопрос – значит, по мне, слишком суживать его. Ваш английский священник нападает, например, с жаром на почитание св. девы и святых; но если даже и признать, к чему я, разумеется, вовсе не склонен, что это почитание, в том виде, как оно исповедуется нашими великими церквами-матерями, как бы запятнано суеверием, то не следует забывать при этом того благотворного влияния, которое оно оказало на мир. В споре между добрыми христианами недостаточно того, чтоб прав был ум, нужно, чтобы и сердце было право. Разве не это почитание сделало христианскую мораль исполнимой, пролив потоки любви богоматери на землю и дав человеческой слабости некоторое число образцов для подражания, прежде чем она могла обратиться к великому образцу, стоящему на вершине христианской лестницы? Разве не этому почитанию мы обязаны тем, что есть наиболее плодотворного в средневековье? Отнимите у этой поры дикого величия ее восторженное

поклонение св. деве и ее глубокое благоговение к священному нимбу, и мир был бы и теперь еще, быть может, в том же состоянии, в каком он находился тогда. В эти века, когда владовала грубая сила, думаете ли вы, что простая мораль Евангелия и одни сверхчеловеческие добродетели спасителя были бы достаточны, чтобы смягчить нравы этих людей севера, железная природа которых только что ознакомилась со всей испорченностью римской цивилизации, выродившейся в бесконечные сатурналии? Разве не нужно было показать им добродетели по их мерке и научить их склонять головы и преклонять колена перед ними? Разве не нужно было говорить с ними языком, доступным для них, и обращаться более к их сердцу и к их воображению, чем к их уму? Вне сомненья, например, что христианское искусство, этот прекрасный цвет чистейшего религиозного чувства, было бы невозможно без почитания святых. А если это так, то ведь это искусство бесспорно принесло больше пользы обществу, чем принесут ему когда-либо целые тома холодных проповедей. Мало того, и что касается меня, то я уверен в этом, даже в настоящее время дивные храмы, которые рассыпала по всей Англии низвергнутая церковь, лучше возвещают Евангелие в своем молчании ее неблагодарному населению, к стати сказать мало ценящему это великолепное наследие, чем проповедники ныне господствующей церкви. Должен, впрочем, признаться вам, что мне трудно понять, как эта церковь, самое наименование которой установленная церковь – указывает на ее происхождение, как она может быть той самой церковью, которая была основана еще во времена апостольские и затем разрушена саксами. Но как бы то ни было, раз она отрицает свое недавнее происхождение и желает вести свое начало с той поры, когда была только одна церковь в мире, эта последняя церковь, донныне пребывающая, будет, конечно, весьма счастлива открыть ей свои объятия. Это отречение в некотором роде от нечистого источника, которым она некогда кичилась, есть бесспорно большой шаг вперед, и мы должны от всего сердца приветствовать ее на этом пути. Как могли бы, в самом деле, древние исповедания, в лоне которых христианство развернулось и определилось, исповедания, стяжавшие ему мир, не порадоваться при виде своих юных сестер, понявших наконец, что может быть лишь одна христианская церковь, и притом не некая метафизическая церковь, парящая в сферах идеи, но церковь, вполне видимо и вполне реально основанная И. Х. на этой земле, орошенной его кровью и освященной его пребыванием среди нас?

Я замечаю, княгиня, что я только еще приступаю к своему предмету, а уже успел заполнить две страницы; я не знаю, удовольствуетесь ли вы тем, что я сказал вам, но мне не хотелось бы заключать своего письма, не попытав в нескольких словах резюмировать мои чувства по этому интересному вопросу. Итак, я думаю, что призвание церкви в веках было дать миру христианскую цивилизацию, для чего ей необходимо было сложиться в мощи и силе; что, имея задачей показать людям, что есть лишь один способ познать бога и поклоняться ему, она естественно должна была испытывать потребность в сохранении собственного единства; что, если бы она укрылась в преувеличенном спиритуализме или в узком аскетизме, если бы она не вышла из святилища, она тем самым обрекла бы себя на бесплодие и никогда не была бы в состоянии завершить своего дела; наконец, что ее земные судьбы могут быть выполнены лишь в условиях человеческого разума, условиях, возлагавших на нее обязанность непрестанно приспособляться к духу времен, через которые ей пришлось проходить, а потому и не следует упрекать ее в том, что она пошла дорогой, предначертанной ей природой вещей и, следовательно, единственной, по которой она могла идти. Еще одно слово: вы знаете, что некогда, в самый разгар феодальных неистовств, церковь воспретила какие бы то ни было враждебные действия в течение четырех дней недели и что ее послушались: ну, так спрашиваю вас, думаете ли вы, что если б она сложилась иначе, чем это было на деле, она могла бы решиться провозгласить этот пресловутый мир божий, истинный кодекс милосердия и мира, который, по признанию даже протестантских писателей, более всего способствовал развитию у современных наций всяческих гуманных чувств? Конечно, нет. Мне кажется, что при общих и мирных прениях, которые, быть может, возникнут при данных обстоятельствах в религиозном мире, необходимо будет постоянно иметь в виду как услуги, оказанные человечеству древними верованиями, так и необходимость, в которую они были поставлены, выступать в качестве общественных сил и подчинять себе все остальные власти. И тогда, если новые верования, исполненные благодарности за оказанное ими благо, с любовью протянут им руку, можно будет надеяться, что сам дух святой благоволит просветить их и открыть им целый мир любви, где некогда наиболее расходившиеся мнения сольются и смешаются. Пусть эта счастливая минута скорее порадует сердца истинных христиан! А главное, чего можно весьма опасаться в наши дни, да не вздумает заносчивая философия [102 – ...заносчивая философия... – гегелевская система.],

Чаадаев П. письма filosoff.org

претендующая с помощью нескольких варварских формул примирить все непримиримое, выступить посредницей между глубокими и искренними убеждениями, природы которых она не может понять и значения которых она не может измерить, и тем свести всю эту святую работу религиозных умов к какому-нибудь неудачному компромиссу, к какому-нибудь философским пересудам, недостойным религии Христа.

1842

С. П. Шевыреву[103 – В написанном по-русски послании Шевыреву Чаадаев благодарит его за некролог М.Ф. Орлову, скончавшемуся 18 марта 1842 г., печатание которого не было разрешено. 20 марта 1842 г. А.И. Тургенев писал из Москвы Вяземскому: "...здесь, как слышно, боярин-цензор, не пропустив статьи Шевырева, назвал Михаила Орлова каторжным».]

Покорнейше благодарю вас, милостивый государь Степан Петрович, за сообщение вашей статьи, умной, благородной. Все друзья и ближние нашего доброго Орлова вам за нее скажут спасибо. Без вас он бы пропал без вести. – От всей души желаю, чтоб с вами цензура обошлась милостиво.

Душевно вам преданный П. Чаадаев.

Шеллингу

1842. Москва, 20 мая

Милостивый государь.

С тех пор, как вы сделали честь написать мне[104 – имеется в виду письмо, полученное Чаадаевым от Шеллинга в 1833 г.], произошло немало событий в философском мире, но из всех этих событий наиболее живой интерес вызвало во мне ваше выступление на новой сцене, куда призвал вас государь, друг гения[105 – Фридрих-Вильгельм IV, озабоченный усилением подчинения немецких мыслителей «высокомерию и фанатизму школы пустого понятия» и желавший уничтожить «драконово семя гегелевского пантеизма», пригласил Шеллинга на кафедру, ранее занимаемую Гегелем. Новый профессор начал читать лекции в Берлине осенью 1841 г. в обстановке повышенного интереса, когда, по рассказу очевидца, Фридриха Энгельса, в аудитории слышался смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой, турецкой речи. Среди задорной молодежи и важных сановников в числе слушателей находились выдающиеся деятели самого разного рода и духа: Серен Кьеркегор, Михаил Бакунин, Фердинанд Лассаль, Владимир Одоевский, Якоб Бурхард... Семестр закончился овацциями и факельным шествием. Многочисленные отзвуки берлинских лекций доходили и до Чаадаева.]. Как только я узнал о вашем прибытии в Берлин, во мне проснулось стремление обратиться к вам с пожеланиями успеха вашим учениям в этом средоточии немецкой науки; различные обстоятельства, независимые от моей воли, помешали мне выполнить это: теперь мне остается только поздравить вас с вашим успехом. Я не настолько самонадеян, чтобы предположить, что мои приветствия могут вас бесконечно тронуть, и если бы мне не было ничего другого сказать вам, то я, может быть, воздержался бы от того, чтоб писать вам; но я не мог противостать желанию сообщить вам о том могущественном интересе, который связан для нас с вашим теперешним учением, а также о глубоких симпатиях, с которыми маленький кружок наших философствующих умов приветствовал ваше вступление в этот новый период вашего славного поприща.

Вам известно, вероятно, что спекулятивная философия[106 – ... спекулятивная философия... – гегелевская диалектика, которую западники (Бакунин, Белинский, Герцен) трактовали как «алгебру революции», а славянофилы (К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин) пытались одно время приложить к русской истории.] издавна проникла к нам; что большая часть наших юношей, в жажде новых знаний, поспешила приобщиться к этой готовой мудрости, разнообразные формулы которой являются для нетерпеливого неопита драгоценным преимуществом, избавляя его от трудностей размышления, и горделивые замашки которой так нравятся юношеским умам; но чего вы не знаете, вероятно, – это что мы

Чаадаев П. письма filosoff.org

переживаем в данную минуту нечто вроде умственного кризиса, имеющего оказать чрезвычайное влияние на будущее нашей цивилизации[107 – Здесь и далее речь идет о славянофильском движении.]; что мы сделались жертвой национальной реакции, страстной, фанатической, ученой, являющейся естественным следствием экзотических тенденций, под властью которых мы слишком долго жили, но которая, однако, в своей узкой исключительности, поставила себе задачей ни более ни менее как коренную перестройку идеи страны в том виде, как она дана теперь не вследствие какого-либо насильственного общественного переворота, что еще могло бы до известной степени оправдывать насильственное возвращение к прошлому, но просто в силу естественного хода вещей, непогрешимой логики столетий, а главное, в силу самого характера нации. Надо принять в соображение, что философия, низвергнув с престола которую вы явились в Берлин, проникнув к нам, соединившись с ходовыми у нас идеями и вступив в союз с господствующим у нас в настоящее время духом, грозила окончательно извратить наше национальное чувство, то есть скрытое в глубине сердца каждого народа начало, составляющее его совесть, тот способ, которым он воспринимает себя и ведет себя на путях, предначертанных ему в общем распорядке мира. Необыкновенная эластичность этой философии, поддающейся всевозможным приложениям, вызвала к жизни у нас самые причудливые фантазии о нашем предназначении в мире, о наших грядущих судьбах; ее фаталистическая логика, почти уничтожающая свободу воли, восстанавливая ее в то же время на свой лад, усматривающая везде неумолимую необходимость, обратясь к нашему прошлому, готова была свести всю нашу историю к ретроспективной утопии, к высокомерному апофеозу русского народа; ее система всеобщего примирения путем совершенно нового хронологического приема, занимательного образца наших философских способностей, вела нас к вере, что, упредив ход человечества, мы уже осуществили в нашей среде ее честолюбивые теории; наконец, она, быть может, лишила бы нас прекраснейшего наследия наших отцов, той целомудренности ума, той трезвости мысли, культ которой, сильно запечатленный созерцательностью и аскетизмом, проникал все их существо. Вы можете судить, сколь искренно приветствовали ваше появление в самом очаге этой философии, влияние которой могло стать для нас столь губительным, все те из нас, которые действительно любят свою страну. И не думайте, чтобы я преувеличивал это влияние. Бывают минуты в жизни народов, когда всякое новое учение, каково бы оно ни было, всегда явится облеченным чрезвычайной властью в силу чрезвычайного движения умов, характеризующего эти эпохи. А следует признаться, что горячность, с которой у нас волнуются на поверхности общества в поисках какой-то потерянной национальности, невероятна. Роятся во всех уголках родной истории; переделывают историю всех народов мира, навязывают им общее происхождение с привилегированной расой, расой славянской, смотря по большему или меньшему достоинству их; перерывают всю кору земного шара, чтобы найти титулы нового народа божия; и в то время, как эта непокорная национальность ускользает от всего этого бесплодного труда, фабрикуют новую, которую претендуют навязать стране, относящейся, впрочем, совершенно безучастно к лихорадочным восторгам этой науки, у которой еще молоко на губах не обсохло. Но горячки заразительны, и если бы учение о непосредственном проявлении абсолютного духа в человечестве вообще и в каждом из его членов в частности продолжало царить в вашей ученой метрополии, то мы вскоре увидели бы, в этом я уверен, весь наш литературный мир перешедшим к этой системе, подслужливым царедворцем человеческого разума, мило льстящим всем его притязаниям. Вы знаете, в вопросах философии мы еще ищем своего пути: поэтому весь вопрос в том, отдадимся ли мы порядку мыслей, поощряющему в высокой степени всякие личные пристрастия, или, верные дороге, которой мы следовали до сего дня, мы и впредь пойдем по путям того религиозного смирения, той скромности ума, которые во все времена были отличительной чертой нашего национального характера и в конечном счете плодотворным началом нашего своеобразного развития. Продолжайте же, милостивый государь, торжествовать над высокомерной философией, притязавшей вытеснить вашу. Вы видите, судьбы великой нации зависят в некотором роде от вашей системы. И да будет дано нам увидеть когда-нибудь созревшими в нашей среде все плоды истинной философии, и это благодаря вам!

Е. А. Свербеевой[108 – Е.А. Свербеева, урожденная Щербатова, была дальней родственницей Чаадаева. В доме ее мужа, автора известных «Записок» Д.Н. Свербеева, собирались видные представители славянофильства и западничества. Это письмо Чаадаева к ней, как и другие два послания к Свербеевой 1844 и 1845 гг., печатаются по тексту публикации Н.В. Голицына в журнале «Вестник

Чаадаев П. Письма [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Европы» (1918, кн. 1–4).]

10 июля <1842 г. [109 – дата в скобках поставлена публикатором.]>

Письмо ваше, дорогая г-жа Свербеева, пришло весьма кстати, чтобы отвлечь меня от моих печальных забот. Приближаясь к моменту моего удаления в изгнание из города, где я провел 15 лет моей жизни над созданием себе существования, полного привязанностей и симпатий, которых не могли сокрушить ни преследования, ни неудачи, я вижу, что эта вынужденная эмиграция есть настоящая катастрофа [110 – После смерти Е.Г. Левашевой в 1839 г. Чаадаев несколько раз оказывался перед чрезвычайно неприятной, но так и не осуществившейся необходимостью покинуть флигель на Новой Басманной.]. Вы находите, что Рождество [111 – Рождество – имение двоюродной сестры Чаадаева Е.Д. Щербатовой в Серпуховском уезде Московской губернии.] одиноко; что же сказали бы вы об очаровательном убежище, которому предстоит меня принять, если б вы имели о нем какое-либо представление? Вообразите себе – один кустарник и болота на версты кругом и, помимо всего прочего, отсутствие места в доме для целой половины моих книг! Так пишет мне добрая тетушка [112 – ...добрая тетушка – А.М. Щербатова.], несмотря на ее горячее желание видеть меня у себя. Расположенное в довольно веселой местности, с удобным домом, украшенное вашим соседством, Рождество по сравнению является обетованною землею. Но не будем об этом говорить; это значило бы плохо ценить вашу дружбу, если заставлять ее выносить картину ожидающей меня жизни. Я, впрочем, по-прежнему решил приехать записаться счастьем под вашими широтами, прежде чем отправиться в мои Синаняры [113 – Так Чаадаев называет имение тетки в деревне Алексеевское Дмитровского уезда Московской губернии.]. Я узнал через *cousine* о визите, который сделала вам прекрасная графиня; если я с ней встречу, я приглашу ее заехать к вам ко времени моей поездки. И тогда как-нибудь вечером, между двумя романсами, я распрощусь с вами; это смягчит мне горечь разлуки.

Перейдем к предметам, вызвавшим ваше любопытство. Статья Хомякова [114 – Имеется в виду статья Хомякова «О сельских условиях», напечатанная в 1842 г. в шестом номере журнала «Москвитянин», в которой рассматривались возможные условия сделок между землевладельцами и крестьянами на основе сельской общины как исконном явлении русской народной жизни.], говорит, произвела мало впечатления среди землевладельцев; я этому не удивляюсь: она очень мало содержит для практической жизни, но очень много для мысли. Поэтому, что до меня касается, я от нее в упоении. Несколько фраз из нее я перевел Мармье, присоединив к ним маленький комментарий для его личного употребления. К сожалению, интересный путешественник приехал повидаться со мною накануне своего отъезда, почему я и не мог, в тот краткий промежуток времени, который он провел у меня, дать ему оценить вещи во всем их значении. Вот одна из этих фраз, сопровождаемая ее комментарием. «Сельская община, – говорит автор, – нашла впоследствии главу в лице землевладельца». Совершенно правильно, но что из этого следует? Что община сначала не имела главы; что последняя установилась у нас законным путем; что это установление было благодеянием для страны, так как оно способствовало окончательному устройству этой удивительной общины, основы, по мнению автора, нашего общественного строя и зародыша всего нашего будущего процветания; наконец, что не следует прикасаться к рабству, если только не хочется разрушить общину и возратить нас к золотому веку допотопной Руси. Текст гласит: «Мирская община получила впоследствии определенную главу в лице помещика». Вы видите, что моя передача вполне правильна: я ссылаюсь на самого автора. Другое положение Хомякова, доверенное скромному и осторожному размышлению Мармье: «формы нашей жизни, – говорит он, – органическое произведение нашей почвы и народного характера, заключают в себе тайну нашего величия». Превосходно! Но тогда и крепостное право, одна из наиболее ярких форм нашей жизни, не является ли также необходимым продуктом природы страны? Не содержит ли оно в себе также тайну нашего величия? А потому, снова скажу, остерегайтесь дотрагиваться до него! Но достаточно о Хомякове и его статье. Г-жа Орлова поселилась на Всесвятском; она по-прежнему бодра, но очень грустна. Мысль покинуть ее, чтоб больше не видаться, сильнее всего меня удручает. Добрый Орлов, надеюсь, не будет за это в претензии на меня; в странах, в которых он теперь обретается [115 – Чаадаев имеет в виду загробный мир.], все, говорят, становится ясно; в таком случае он будет знать, как дорога мне его память и как я был бы счастлив доказать это его семье. – Тургенев [116 – А.И. Тургенев.] направляется в Москву; его патрон ожидается сюда через несколько дней; итак, вы не преминете вскоре увидеть нашего дорогого друга у своих ног. –

Чаадаев П. письма filosoff.org

Натали[117 – Н.Д. Шаховская.] получила два раза известия от своей сестры[118 – Е.Д. Щербатова.], этого беспокойного сердца, которое сейчас ищет впечатлений на красивых берегах Рейна. Да поможет ей небо! Вы, вероятно, знаете о случившемся с хорошенькой Дашей происшествии, очень естественном при ее наружности; вследствие этого Лиза путешествует без горничной, отчего она, по ее словам, чувствует себя превосходно; но не можете ли вы мне объяснить, как она ухитряется причесываться? Правда, у нее есть выход – вовсе не причесываться. Вот, кажется, все темы вашего любопытства удовлетворены.

Итак, прощайте, добрая и любезная кузина. Забыл вам сказать, что наш Голицын женится на княжне Долгорукой, дочери Ильи Долгорукого, свадьба будет здесь через несколько недель. Все это сообщил мне Иван Гагарин; он только что от меня ушел и поручил мне засвидетельствовать вам свое почтение. Еще раз – прощайте. Примите, прошу вас, выражение моей глубокой и искренней преданности.

Петр Чаадаев.

P. S. Я хотел послать это письмо на почту, но ваш супруг взялся его вам доставить.

С. П. Шевыреву[119 – Написанное по-русски послание к Шевыреву проникнуто тем же настроением, что и начало предыдущего письма.]

Басманная, 20 июля

Вы, конечно, не знаете, любезнейший Степан Петрович, что я болен и сижу дома; а то бы ваша добрая душа, конечно, вас привела ко мне. По-московски, мы почти соседи. Но кроме этого, то есть кроме утешения, которое мне доставит ваше посещение, я бы желал поговорить с вами о многом. Я оставляю Москву. Надобно ее оставить не с пустыми руками. Остальные, немногие предсмертные дни хотел бы провести в труде полезном, а для этого нужно или укрепиться в своих убеждениях, или уступить потоку времени и принять другие. Ваша теплая душа поймет, что с сомнениями тяжело умирать, какие бы они ни были. – Простите, почтеннейший Степан Петрович. – В ожидании вашего посещения прошу вас принять уверение в моей душевной преданности. Петр Чаадаев.

1843

А. И. Тургеневу[120 – Это письмо к А.И. Тургеневу, первые строки которого говорят о какой-то ссоре между ним и Чаадаевым, не было отправлено. Вторая часть письма интересна как свидетельство неоднозначных изменений во взглядах автора философических писем. Печатается по тексту публикации Л.Н. Черткова в журнале «Русская литература» (1969, № 3).]

Госпожа С.[121 – имеется в виду Е.А. Свербеева.] больна, поэтому отвечаю вам я: вы знаете, имею ли я на это право. И прежде всего я должен вам сказать, что она очень сожалеет, что вызвала ваше письмо. Но что вы хотите? Приходится иногда действовать не по первому побуждению, хотя бы впоследствии и пришлось в этом раскаяться. Предупреждаю вас – вы услышите слово человека обиженного, однако человека, симпатии которого не смогли заглушить ни ваши мелочные выходки, ни бешеные вспышки вашего гнева.

Вы говорите, что ваша душа больна! Дай бог, чтобы ваш ум был в лучшем состоянии. Вы бы тогда лучше судили и о вещах, и о людях. В этом все дело. Добрый, обходительный, без претензии на серьезность, неутомимый и подчас интересный собиратель всяческих новостей; милый хвастун, не отказывающийся от этого титула, а, наоборот, добродушно принимающий его; наконец, фрондер по проявлениям, а для виду и филантроп – таким мы вас знали и любили. Но вот в один прекрасный день ваш покровитель покидает двор[122 – Речь идет о князе А.Н. Голицыне, под начальством которого Тургенев служил в министерстве иностранных дел и который в 1843 г. вышел в отставку. Вслед за Голицыным получил отставку и Тургенев.]: последствия обрушиваются на вас;

вы теряете одну официальную поддержку, и вам нужна другая. Вместо того, чтобы искать эту поддержку в старых и достойных дружеских связях, в услугах, оказанных и принятых, в уважении ваших соотечественников, вы хотите найти ее в каких-то неизвестных делах славного прошлого, в ваших связях с несколькими снисходительными европейскими знаменитостями, в мнимой строгости ваших принципов, и прежде всего в той широкой филантропии, первые плоды которой принадлежат каторжникам, а шум – свету [123 – Имеется в виду деятельность Тургенева в пользу заключенных, которым он самоотверженно помогал под руководством известного московского врача Ф.П. Гааза.]. И вот вы – среди нас в своем новом костюме. К сожалению, костюм вам не по росту. Он был скроен для человека исключительно смелого и оригинального. А вы знаете – каков тот, кто его надел. Отсюда все недоразумения, происшедшие с вами во время вашего пребывания в Москве. Прежде всего вы нашли, что публика охладела по отношению к вам. Ничуть не бывало. Публика осталась та же – переменились вы. Публика, надо это вам сказать, всегда относилась к вам шутя; на этот раз вы захотели, чтобы вас приняли всерьез. Публика на это не пошла, вот и все. Тогда начались ваши дикие выходки, ваши взбалмошные ссоры, ваши ревнивые подозрения. Вы стали сварливы, грубы, надменны. Все ваши дурные страсти, дремавшие в течение полувека в тени блаженного довольства, внезапно проснулись, шумные, циничные, завистливые. Поневоле публика тогда слегка отшатнулась от вас; тем не менее, привыкнув относиться к вам снисходительно, она не лишила вас своего доброжелательства, с той лишь разницей, что ее симпатии сменились снисхождением. То, что я вам сейчас сказал, вы знаете не хуже меня, но вы, вероятно, не знаете того, что это известно другим и помимо вас, а вот это-то и важно вам знать!

Вы понимаете, что я не могу вывести известную вам милую даму на ту шутовскую арену, на которой мы благодаря вам состязаемся. Я не могу говорить с вами ни о том почти жестоком поддразнивании, которому вы ее подвергли, и это в такую минуту, когда она была погружена в глубочайшую скорбь [124 – Подразумевается смерть в августе 1843 г. подруги Свербеевой Е.А. Зубовой.], ни о ваших претензиях целиком завладеть ее дружбой, ни, наконец, о покорности, с которой она перенесла все излияния неслыханного эгоизма; но я могу и должен сказать вам о себе, и это вы, конечно, прекрасно понимаете. Как ни смешно, впрочем, что между нами возникает спор, я не могу даровать вам ту безнаказанность в отзывах обо мне, какую вы себе так свободно предоставляете. Итак, слушая вас, лучше сказать, глядя на вас, ибо вы ничего не произносите [125 – Чаадаев имеет в виду висевший у него в кабинете портрет А.И. Тургенева, выполненный К.П. Брюлловым.], можно подумать, что вы таите глубокую и обоснованную обиду против меня; я оговорился, обида – не то слово, ваше дурное настроение в отношении меня совершенно бескорыстно, вы одушевлены лишь самым целомудренным, самым благородным негодованием против изменчивости моих мнений, против моего заносчивого самолюбия. Ну, так что ж! Я это признаю, ибо я – не из тех, кто добровольно застывает на одной идее, кто подводит все – историю, философию, религию под свою теорию, я неоднократно менял свою точку зрения на многое и уверяю вас, что буду менять ее всякий раз, когда увижу свою ошибку. Что касается второго вопроса – моего самолюбия, то – да, я горжусь тем, что сохранил всю независимость своего ума и характера в том трудном положении, которое было создано для меня, и я смею надеяться, что мое отечество оценит это; я горжусь тем, что вызванные мною ожесточенные споры не отдалили от меня никого из тех лиц, глубокими симпатиями которых я пользовался, наконец, я горжусь тем, что среди моих друзей числятся серьезные и искренние умы самых различных направлений. Еще слово. О, конечно, христианское смирение прекрасно, и, осуществляя его, человек испытывает невыразимое счастье; к сожалению, при некоторых данных условиях оно приобретает вид низости, и вы, который так искусно умеет принимать тот или иной вид, должны это знать не хуже меня. Вернемся к моим мнениям – это самый существенный вопрос.

Было время, когда я, как и многие другие, будучи недоволен нынешним положением вещей в стране, думал, что тот великий катаклизм, который мы именуем Петром Великим, отодвинул нас назад, вместо того чтобы подвинуть вперед; что поэтому нам нужно возвратиться вспять и сызнова начать свой путь, дабы дойти до каких бы то ни было крупных результатов в интеллектуальной области. Ознакомившись с делом ближе, я изменил свою точку зрения. Теперь я уже не думаю, что Петр Великий произвел над своей страной насилие, что он в один прекрасный день похитил у нее национальное начало, заменив его началом западноевропейским, что, брошенные в пространство этой исполинской рукой, мы попали на ложный путь, как светило, затерявшееся в

чужой солнечной системе, и что нам нужен в настоящую минуту какой-то новый толчок центростремительной силы, чтобы мы могли вернуться в нашу естественную среду. Конечно, один этот человек заключал в себе целый революционный переворот, и я далек от того, чтобы это отрицать, однако и этот переворот, как и все перевороты в мире, вытекал из данного порядка вещей. Петр Великий был лишь мощным выразителем своей страны и своей эпохи. Поневоле осведомленная о движении человечества, Россия давно признала превосходство над собой европейских стран, особенно в отношении военном; утомленная старой обрядностью, прискучив одиночеством, она только о том и мечтала, чтобы войти в великую семью христианских народов; идея человека уже проникла во все поры ее существа и боролась в ней не без успеха с заржавевшей идеей почвы. Словом, в ту минуту, когда вступил на престол великий человек, призванный преобразовать Россию, страна не имела ничего против этого преобразования: ему пришлось только приложить вес своей сильной воли, и чашка весов склонилась в пользу преобразования. Что касается средств, которыми он пользовался для осуществления своей программы, то он, естественно, нашел их в инстинктах, в быте и, так сказать, в самой философии народа, которого он являлся самым подлинным и в то же время самым чудесным выразителем. И народ не отказался от него: если он и протестовал, то делал это в глубоком безмолвии, и история никогда об этом ничего не узнала. Стрельцы, опьяненные анархией, вельможи, погрязающие в грабежах, потерявшие рассудок среди своего рабского уклада, несколько мятежных священников, тупые сектанты – все это не выражало национального чувства. Наконец – небольшая оппозиция, оказанная ему частью народа, отнюдь не имела отношения к его реформам, ибо она возникла со дня его восшествия на престол. Я слишком хороший русский, я слишком высокого мнения о своем народе, чтобы думать, что дело Петра увенчалось бы успехом, если бы он встретил серьезное сопротивление своей страны. Я хорошо знаю, что вам скажут некоторые последователи новой национальной школы – «потерянные дети» этого учения, которое является ловкой подделкой великой исторической школы Европы; они скажут, что Россия, поддавшись толчку, сообщенному ей Петром Великим, на момент отказалась от своей народности, но затем вновь обрела ее каким-то способом, неведомым остальному человечеству, но краткое размышление покажет нам, что это – лишь громкая фраза, неуместно заимствованная на той податливой растяжимой философии, которая в настоящее время разьедает Германию и которая считает, что объяснила все, если сформулировала какой-нибудь тезис на своем странном жаргоне. Правда в том, что Россия отдала в руки Петра Великого свои предрассудки, свою дикую спесь, некоторые остатки свободы, ни к чему ей не нужные, и ничего больше – по той простой причине, что никогда народ не может всецело отречься от самого себя, особенно ради странного удовольствия сделать с новой энергией прыжок в свое прошлое – странная эволюция, которую разум человека не может постичь, а его природа – осуществить. Но надо знать, что не впервые русский народ воспользовался этим правом отречения, которое, разумеется, имеет всякий народ и пользоваться которым не каждый народ любит. Так часто, как мы. Заметьте, что с моей стороны это – вовсе не упрек по адресу моего народа, конечно достаточно великого, достаточно сильного, достаточно могущественного, чтобы безнаказанно позволить себе время от времени роскошь смирения. Эта склонность к отречению – прежде всего плод известного склада ума, свойственного славянской расе, усиленного затем аскетическим характером наших верований, – есть факт необходимый или, как принято теперь у нас говорить, факт органический, – надо его принять, подобно тому как страна по очереди принимала различные формы иноземного или национального ига, тяготевшие над ней. Отрицать эту существенную черту национального характера – значит оказать плохую услугу той самой народности, которую мы теперь так настойчиво восстанавливаем. Вот некоторые из тех отречений, о которых мы говорим.

Наша история начинается прежде всего странным зрелищем призыва чуждой расы к управлению страной, призыва самими гражданами страны – факт единственный в летописи всего мира, по признанию самого Карамзина, и который был бы совершенно необъясним, если бы вся наша история не служила ему, так сказать, комментарием. Далее идет наше обращение в христианство. Вы знаете, как это произошло. Если князь и его дружина, говорил народ, находят это учение хорошим и мудрым, наверное, это так и есть, и бежал окупиться в воды Днепра. Наконец, наступает продолжительное владычество татар – это величайшей важности событие, которое ложный патриотизм лицемерно и упорно отказывается понять и которое содержит в себе такой страшный урок. Как известно, татары никогда не захватывали всей России, но ведь без захвата страны нет настоящего ее завоевания, т. е. завоевания, которое привело бы к необходимому подчинению. Можно подумать, что смутный инстинкт подсказал

нашим предкам, что, уединяясь от остального мира, они согрешили перед господом и что бич татарского нашествия был за это справедливой карой: такова была покорность, с которой они приняли это страшное иго. Поэтому, как оно ни было ужасно, оно принесло нам больше пользы, чем вреда. Вместо того чтобы разрушать народность, оно только помогало ей развиваться и созреть. Именно татарское иго приучило нас ко всем возможным формам повиновения, оно сделало возможным и знаменитые царствования Иоанна III и Иоанна IV, царствования, во время которых упрочилось наше могущество и завершилось наше политическое воспитание, во время которых с таким блеском проявились благочестивые добродетели наших предков; то же владычество облегчило задачу Петра Великого и имело, быть может, больше влияния, чем это принято думать, на образование характера этого исполина. Само царствование Иоанна IV можно рассматривать в известном смысле как длительное отречение, во время которого народ сложил у ног своего государя не только все свои права, но и свои верования, ибо мы видим, как немедленно после него народ признает наследником престола его сына – плод многоженства, не имевшего примера среди христианских народов, видим, как он проливает чистую кровь лучших своих сынов за этот воображаемый символ царской власти. Всем известно это странное и волнующее событие страшного царствования – настоящий договор, заключенный между народом и его государем, в силу которого народ со связанными руками и ногами отдавал себя во власть впавшего в безумие государя. Один этот факт говорит больше, чем все, что я мог бы прибавить. Но в нашей истории есть еще одно отречение, более важное, более чреватое последствиями, чем все отречения, о которых я говорил, и к которому не терпится перейти, потому что оно непосредственно связано с упреками, которые вы мне делаете. Вы догадываетесь, что я имею в виду установление крепостного права в наших деревнях.

Вот что мы читаем в журнале, хорошо известном своим национальным настроением. Статья говорит об императорском указе, вводящем новый порядок освобождения крестьян [126 – Имеется в виду упоминавшаяся в письме к Е.А. Свербеевой статья Хомякова «О сельских условиях»]. Установив на научных основах, что цельность общины является существенным элементом нашего общественного быта, автор прибавляет: впоследствии мирская община получила определенную главу в лице землевладельца. Эти замечательные слова, вырвавшиеся из-под блестящего и патристического пера одного из корифеев национальной школы, заключают в себе, по нашему мнению, все прошедшее и все будущее землевладельческого населения; достаточно будет краткого их разбора, чтобы вы могли понять и оценить мою точку зрения на этот вопрос.

В факте огромной социальной важности, который окончательно сорганизовал в нашей стране низшие слои общества, прежде всего поражает то, что ничего подобного не только не видели в других христианских странах, но что, наоборот, историческое развитие в них шло путем, совершенно противоположным нашему. Начав с крепостной зависимости, крестьянин там пришел к свободе, – у нас же, начав со свободы, крестьянин пришел к крепостной зависимости; там рабство было уничтожено христианством – у нас рабство родилось на глазах христианского мита. Что касается самого пути установления крепостного состояния, то нет ничего общего между тем, как оно установилось в странах Западной Европы и у нас. Будучи результатом неприятельского нашествия или военных побед, оно в этих странах было в известном отношении узаконено древним правом завоевателя; везде, где вы находите господ и крепостных, вы найдете также либо власть одной расы над другой, либо обращение людей в рабство на поле сражения, – у нас же одна часть народа просто подчинилась другой, притом так, что поработенной части никогда и в голову не пришло жаловаться на потерю своей свободы и никогда она не чувствовала себя сколько-нибудь оскорбленной, униженной, опозоренной этой переменой в своей судьбе. Вот различные фазы этой странной истории. Сначала простая административная мера, определяющая известное время в году для возобновления арендного договора между земельным собственником и крестьянином; затем – другая административная мера, привязывающая этого последнего к земле; после этого – третья мера, которая включает его в своего рода бесформенный кадастр земельной собственности; наконец – последняя, которая смешивает его с домашними крепостными или рабами в собственном смысле слова и таким образом навсегда поработает его. Таков простой ход событий. Ясно, что такой ход, при котором вмешательство государя есть только вмешательство административной власти, был лишь необходимым последствием порядка вещей, зависящего от самой природы социальной среды, в коей он осуществлялся, или от нравственного склада народа, его терпевшего, или, наконец, от той и другой причин, вместе взятых. Мы действительно видим, что все эти меры вытекали из частной

необходимости тех исторических эпох, которые их породили, мы находим и в то же время в самих учреждениях наших, носящих глубокий отпечаток национального характера, естественную тенденцию к этой неизбежной развязке нашей социальной драмы. Раскройте первые страницы нашей истории, размышляйте над ними не с честолюбивым, хвастливым патриотизмом наших дней, но со скромным благочестивым патриотизмом отцов наших, и вы увидите, что в формах, в разнообразно сочетающихся условиях нашего национального существования и с самых первых его лет все предвещает это неизбежное развитие общества. Вы увидите, что уже с самой колыбели оно несет в себе зародыш всего того, что возмущает ныне поверхностные умы, вылившиеся в формы, свойственные чуждому миру. Вы увидите, что уже с той поры все стремится, все жаждет подчиниться какой-нибудь личной власти, что все организуется, все устрояется в узких рамках домашнего быта, что, наконец, все стремится искать защиты под отеческой властью непосредственного начальника. Среди всего этого вы можете усмотреть и выборное начало, слабое, неопределенное, бессильное, проникающее иногда неведомо в самую семью, иногда ограничивающееся анархическими выходками злоупотребления безграничной власти, но никогда не совпадающее с положительной идеей какого-нибудь права, всюду и всегда подчиненное началу господствующему – всеподавляющему началу семейному. Это выборное начало, наконец, столь ничтожное, что наша история упоминает о нем как будто лишь для того, чтобы показать его бесплодность, когда оно не сочетается с чувством человеческого достоинства. Все это прекрасно понял ученый автор статьи.

По его мнению, краеугольный камень нашего социального здания – это сельская община: в ней сосредоточены все силы страны, в ней кроется вся тайна нашего величия, с его точки зрения – это не повторяющееся нигде в мире начало, нечто принадлежащее исключительно нашей народности, нечто интимное, глубокое, необычайно плодотворное, создавшее нашу историю, придающее единое направление всем достойнейшим событиям нашего национального существования, окутывающее его целиком; наконец – из недр общины раздался клич спасения в то время, когда наша прекрасная родина разрывалась на клочки своими собственными сынами и предавалась чужеземцам [127 – Подразумевается Смутное время 1605–1613 гг.]. Между тем надо помнить, что было время, когда эта община была далеко не так прекрасно организована, как в эпоху более нам близкую. Автор, правда, признает влияние общинного начала с самых первых дней существования нашего общества, но это воздействие его, очевидно, не могло проявляться в форме, полезной для страны, в то время, когда население блуждало по ее необъятному простору то ли под влиянием ее географического строя, то ли вследствие пустот, образовавшихся после иноземного нашествия, или же, наконец, вследствие склонности к переселениям, свойственной русскому народу и которой мы в большей степени обязаны огромным протяжением нашей империи. Ученый автор сам, вероятно, попал бы в затруднительное положение, если бы ему пришлось точно объяснять нам, какова была подлинная структура его общины, равно как ее юридические черты среди этого немногочисленного населения, бродившего на пространстве между 65 и 45° (северной) широты; но каковы бы ни были эти черты и эти формы, несомненно то, что нужно было их изменить, что нужно было положить конец бродячей жизни крестьян. Таково было основание первой административной меры, клонившейся к установлению более стабильного порядка вещей. Этой мерой, как известно, мы обязаны Иоанну IV – этому государю, еще недавно так неверно понятому нашими историками, но память которого всегда была дорога русскому народу, государю, которого узкая прописная мораль наивно заклемила, но широкая мораль наших дней совершенно оправдала, государю, чей кровавый топор в течение сорока лет не переставал рубить вокруг себя в интересах народа; поэтому было бы весьма неразумно видеть что-либо иное в этом акте, продиктованном искренним участием к земледельческому классу.

Вторая мера относится к царствованию его сына или, лучше сказать, к царствованию Годунова, избранника народа... [128 – Здесь текст письма обрывается.]

А. И. Тургеневу

1 ноября. Басманная

Не успел я написать вам письмо, наполненное глупостями, в ответ на те, с которыми вы обратились ко мне в вашем письме к Свербеевой, как она получила другое для передачи мужу, в котором было несколько слов по моему адресу.

Вот я и сел впросак с моим глупым письмом[129 – Речь идет о предыдущем неотправленном письме.]. Признаюсь, однако, что мне немножко жаль, что так случилось, ибо в моем письме были отменные вещи, и вы сами с удовольствием прочли бы их. Но у вас какой-то дар делать все некстати. Как бы то ни было, теперь уже говорить об этом не приходится, и мне в настоящее время остается только сообщить вам о том удовольствии, которое доставило мне это, правда немного запоздавшее, удовлетворение, но которое я принимаю от всего сердца и за которое я вам во всех отношениях благодарен. Я, впрочем, никогда не сомневался в вашем добром сердце, как ни извращено оно филантропией, а также в вашей дружбе и крепко надеялся, что в один прекрасный день вы вернетесь ко мне. Я убежден, что, написав эти трогательные строки, вы почувствовали, что все успехи самолюбия не стоят сладости доброго чувства. Кстати, я должен вам сказать, что ваш странный гнев нимало не изумил меня; я лучше кого-либо другого понимаю тягость такого существования, как ваше, лучше кого-либо другого знаю, что все мы лишены действительного благосостояния души и что, следовательно, нам поневоле приходится заполнять нашу жизнь туманами тщеславия. К несчастью, эти туманы зачастую весьма пагубны и искажают в конце концов наш организм.

Я очень рад тому, что вы часто встречаетесь с моей кузиной[130 – Имеется в виду Е.Д. Щербатова, которая в это время находилась за границей.]. Это одна из самых почтенных личностей, каких я только знаю. Советую вам, для чести страны, всячески постараться ввести ее в парижское общество. Отчего вы не пишете мне ничего о брошюре лабенского[131 – Речь идет о вышедшей в 1843 г. в Париже брошюре русского дипломата и поэта К.К. Лабенского, посвященной критике нашумевшей книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Кюстин, замечал автор, привез с собой Россию в портфеле и подогнал свои отрывочные впечатления под заранее выработанный критерий оценки всего происходящего на его глазах.]? Я только что прочел ее. Хотя и написанная стилем выходца или, вернее, иностранца, она имеет, по-моему, то несомненное достоинство, что отлично доказывает необходимость реформы Петра Великого в ту эпоху, когда он появился. Ничто великое или плодотворное в порядке общественном не появляется, если оно не вызвано настоятельной потребностью, и социальные реформы удаются лишь при том условии, если они отвечают этой потребности. Этим объясняется вся история Петра Великого. Если бы Петр Великий не явился, то кто знает, может быть, мы были бы теперь шведской провинцией, и что, скажите, поделывала бы тогда наша милейшая историческая школа?

Мы еще пребываем здесь в летней тишине, и я очень боюсь, что, когда зима вернет нам людей, она принесет нам жизни лишь ровно настолько, чтоб мы могли не почитать себя мертвыми. Если бы соберетесь написать мне, в чем я слегка сомневаюсь, то сообщите мне побольше об этой милой Лизе[132 – ...милой Лизе... – Е.Д. Щербатовой.], которую мне не удалось заставить особенно полюбить меня, но которую я люблю более, чем в силах это выразить. Это между нами. Свербеева собирается вам писать. Вы понимаете, какая пустота образовалась в ее существовании, сотканном из привязанностей и симпатий, со смертью добрейшей графини З.[133 – Имеется в виду Е.А. Зубова.]; она еще далеко не оправилась от своего горя, вы сумеете поэтому оценить это свидетельство ее дружбы к вам, ибо люди неохотно отрываются от истинного и глубокого горя. Итак, будьте здоровы. Не говорю вам до свидания, ибо в марте месяце окончательно покидаю Москву с тем, чтобы уже не возвращаться туда. – Передайте всяческие изъявления почтительности с моей стороны г-же Сиркур и кн. Елене, если только она в Париже. Нежно обнимите вашего брата от меня.

1844

А. С. Хомякову[134 – С Хомяковым, послание к которому написано по-русски, Чаадаева связывали тесные приятельские отношения, несмотря на идейные расхождения. Об их спорах в атмосфере дружеского согласия не раз рассказывали современники, упоминая о постоянно сидящих «рядышком», выделяющихся в обществе москвичах. После смерти Чаадаева Вяземский писал Шевыреву: «Москва без него и без Хомяковской бороды как без двух родинок, которые придавали особое выражение лицу ее».]

Позвольте, любезный Алексей Степанович, прежде, нежели как удастся мне изустно поблагодарить вас за вашего Феодора Ивановича, сотворить это

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)

письменно[135 – Речь идет о статье Хомякова «Царь Федор Иоаннович», напечатанной в 1844 г. в первой книге «Библиотеки для воспитания»]. Всегда спешу выразить чувство, возбужденное во мне благим явлением. Разумеется, я не во всем с вами согласен. Не верю, напр., чтобы царствование Феодора столько же было счастливо без Годунова, сколько оно было при нем; не верю и тому, чтоб учреждение в России патриаршества было плодом какой-то умственной возмужалости наших предков, и думаю, что гораздо естественнее его приписать упадку или изнеможению церковей восточных под игом Агарян и честолюбию Годунова; но дело не в том, а в прекрасном нравственном направлении всей статьи. Таким образом позволено исказить историю, особенно если пишешь для детей. Спасибо вам за клеймо, положенное вами на преступное чело царя[136 – ...преступное чело царя... – Ивана Грозного.], развратителя своего народа, спасибо за то, что вы в бедствиях, постигших после него Россию, узнали его наследие. Я уверен, что на просторе вы бы нашли следы его нашествия и в дальнейшем от него расстоянии. В наше, народную спесью околдованное, время утешительно встретить строгое слово об этом славном витязе славного прошлого, произнесенное одним из умнейших представителей современного стремления. Разногласие ваше в этом случае с вашими поборниками подает мне самые сладкие надежды. Я уверен, что вы со временем убедитесь и в том, что точно так же, как кесари римские возможны были в одном языческом Риме, так и это чудовище возможно было в той стране, где оно явилось. Потом останется только показать прямое его исхождение из нашей народной жизни, из того семейного, общинного быта, который ставит нас выше всех народов в мире, и к возвращению которого мы всеми силами должны стремиться. В ожидании этого вывода, – не возврата, – благодарю вас еще раз за вашу статью, доставившую мне истинное наслаждение и затейливую мысль, и изящным слогом, и духом христианским.

Е. А. Свербеевой

Если вы, прекрасная кузина, еще не отправили вашего письма Тургеневу, вы можете ему передать, что мое письмо по поводу диссертации Самарина[137 – Речь идет о защите магистерской диссертации Ю.Ф. Самарина «Феофан Прокопович и Стефан Яворский как проповедники», состоявшейся в июне 1844 г.] закончено, но что у вас в руках пока только этот отрывок. Намедни, вернувшись к себе, я его закончил, правда, немного поспешно, но это, надеюсь, не сделает его менее замечательным (piquant). Заключительная часть представляет собою напыщенное похвальное слово в честь православия, как оно понимается нашими друзьями, вместе с изображением блестящего будущего, которое его ожидает, в таких выражениях, от которых, я уверен, не отказался бы сам Протасов, мой достойный и дорогой ученик[138 – Чаадаев называет так обер-прокурора синода Н.А. Протасова, который в конце 10-х гг. служил вместе с ним адъютантом у командира гвардейского корпуса И.В. Васильчикова.]. Вы знаете, что Тургенев просил у меня также мое письмо к Шеллингу[139 – Имеется в виду письмо Чаадаева к Шеллингу от 20 мая 1842 г.]. Вот оно. Не знаю, дошло ли оно до последнего: поэтому, если ему угодно, он может ему послать его. Г-жа Киреевская только что написала мне нежную записку. Андрей Голицын поехал к ней. Не можете ли вы мне сказать, где она живет? Прощайте, прекрасная кузина. Надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете и воспользуетесь этой прекрасной погодой.

Я едва успел написать эти строки, как пришла ваша записка. Вот книга для Валуева. Я только что кончил читать статью о готической архитектуре, единственную, заслуживающую прочтения. Я рассчитываю, что вы в другой раз дадите мне ее прочесть. Я слишком скромн, чтобы приходить к вам сегодня вечером.

А. И. Тургеневу[140 – В «Сочинениях и письмах П. Я. Чаадаева» это написанное по-русски послание помечено как письмо неизвестному адресату.]

В ответ на твое письмо опишу тебе важное событие, совершившееся у нас в литературном мире: уверен, что ничем столько тебе не удружу. Тебе известна диссертация С.[141 – Речь идет об уже упоминавшейся защите диссертации Самарина.] Мы, кажется, вместе с тобою ее слушали. На прошлой неделе он ее защищал всенародно. Народу было много, в том числе, разумеется, все друзья С. обоюго пола. Не знаю, как тебе выразить то живое участие, то нетерпеливое ожидание, которые наполняли всех присутствующих до начатия

диспута. Но вот молодой искатель взошел на кафедру; все взоры обратились на спокойное, почти торжественное его чело. Ты знаешь предмет рассуждения. Под покровом двух имен – Стефана Яворского и Феофана Прокоповича – дело идет о том, возможна ли проповедь в какой-либо иной церкви, кроме православной? По этому случаю, как тебе известно, он разрушает все западное христианство и на его обломках воздвигает свое собственное, преисполненное высоким чувством народности и в котором чудно примиряются все возможные отклонения от первоначального учения Христа. Но все рассуждение не было напечатано; он защищал только последнюю его часть, составляющую некоторым образом особенное сочинение о литературном достоинстве двух проповедников.

О самом сочинении говорить не стану; ты отчасти его знаешь, остальное сам прочтешь. Не имея возможности защищать все положения своего рассуждения, С. в коротких словах изложил его содержание и с редким мужеством высказал перед всеми свой взгляд на христианство, плод долговременного изучения святых отцов и истории церкви, проникнутый глубоким убеждением и поражающий особенно своею новостью. Никогда, в том я уверен, со времени существования на земле университетов, молодой человек, едва оставивший скамью университетскую, не разрешал так удачно таких великих вопросов, не произносил с такою властью, так самодержавно, так бескорыстно приговора над всем тем, что создало ту науку, ту образованность, которыми взлелеян, которыми дышит, которых языком он говорит. Я был тронут до слез этим прекрасным торжеством современного направления в нашем отечестве, в нашей боголобивой, смиренной Москве. Ни малейшего замешательства, ни малейшего стеснения не ощутил наш молодой теолог, решая совершенно новым, неожиданным образом высочайшую задачу из области разума и духа. И вот он кончил и спокойно ожидает возражений, весь осененный какою-то высокою доверенностью в своей силе. Шепот удивления распространился по обширной зале; некоторые женские головы тихо преклонились перед необыкновенным человеком; друзья шептали: «чудно!»; рукоплесканья насилиу воздержались. Сидевший подле меня один из сообщников этого торжества сказал мне: «voilà ce qui s'appelle une exposition claire» [142 – ...voilà ce qui s'appelle une exposition claire... – вот что называется ясным изложением (франц.)]. Так как я не из числа тех, для которых так ясно выразилась мысль оратора, то тебе ее и не передам, а стану продолжать описание самого представления.

Первый возражатель сначала стал опровергать теорию диспутанта о проповеди. Она, по моему мнению, довольно неосновательна, но возражатель, кажется, не угадал слабой ее стороны. Дело состоит в том, что, по этому учению, ораторская речь, следовательно, и проповедь не суть художественные произведения; а я думаю, напротив того, что можно бы с большою истиною сказать, что всякое художественное произведение есть ораторская речь или проповедь, в том смысле, что оно необходимо в себе заключает слово, чрез которое оно действует на умы и на сердца людей, точно так же, как и проповедь или ораторская речь. Потому-то и сказал когда-то, что лучшие католические проповеди – готические храмы и что им суждено, может быть, возвратит в лоно церкви толпы людей, от нее отлучившихся. Потом перешел он к одному из важнейших положений рассуждения, а именно, что проповедник есть посредник между церковью и частными лицами. Каждый, кому сколько-нибудь известны главные черты, определяющие разъединенные христианские исповедания, легко угадает, откуда заимствовано это понятие о высоком значении проповедника. Оно принадлежит тому из них, которое в одной проповеди видит все дело христианства, и само собою разумеется, что возражатель, не имея возможности выразить вполне своей мысли, в невольном бессилии должен был умолкнуть после первых двух слов. Таким образом, к общему сожалению, диспутант не мог тут явить своей силы. Впрочем, должно заметить, что весь диспут, по несчастью, обращался около таких предметов, до которых убеждения, решительно противоположные положениям диспутанта, не могли дотронуться. Так, напр., когда возражатель обратился к странному его мнению о католической проповеди, то он принужден был ограничиться несколькими примерами духовного красноречия западной церкви и общими местами о достаточности одного христианского начала для вдохновения проповедника, между тем как ему должно было показать, что характер проповеди на Западе ничуть не определялся догматами церкви, а самую жизнь Запада, составленной из множества разнородных начал, с которыми проповедники должны были бороться, которым иногда должны были уступать, которые вызвали слово живое, непредвиденное, никакому общему закону не подчинявшееся; что находить в проповеди католической отсутствие живого сочувствия с массою слушателей до такой степени смешно, что не знаешь, что на это сказать; что новоизобретенное им различие между церквами католической и православной совершенно ложно; что церковь православная

Чаадаев П. письма filosoff.org

столько же, сколько и католическая, требовала и требует себе подчинения внешнего; что католическая отнюдь не довольствуется одною только наружною или юридическою покорностию, а лучше только прочих христианских исповеданий постигает своим здравым практическим смыслом человеческую природу и необходимую в ней связь наружного с внутренним, вещественного с духовным, формы с существом; что понятие об этой связи прямо выводится из того ученья евангельского, которое, так сказать, обоготворяет тело человеческое в теле Христовом, таинственно с ним совокупаемым, предсказывает возрождение тел наших и гласит устами Апостола: или не весте, что телеса ваша удове Христове, или не весте, яко телеса ваша храм живаго святаго духа суть (I Кор. 6). Ко всему к этому должно было ему еще прибавить, что церковь западная развивалась не как государство, а как царство; что смешно ее в этом упрекать, потому что вся цель христианства в том и состоит, чтобы создать на земле одно царство, все прочие царства в себе заключающее; что непостижимо, каким образом символизированная идея о единстве церкви в лице папы, про которую, впрочем, католическая церковь ничего не ведает, может разлучить человечество с церковью; что если папа в самом деле не что иное, как символ единства, то очевидно, что самое единство в нем заключаться не может, а должно находиться вне его, то есть в человечестве; что, наконец, преобладание формы в католицизме есть не что иное, как жалкий бред протестантизма, не умевшего постигнуть своим отрицательным тупым понятием, что одним разумным, глубоким сочетанием формы с мыслию возможно было сохранить и мысль и форму христианства посреди той великой борьбы всякого рода сил и понятий, на почве Европы собравшихся, которые составляют новейшую историю мыслящего человечества.

С. П. Шевыреву [143 - Послание Шевыреву написано по-русски.]

Покорнейше благодарю вас, любезнейший Степан Петрович, за ваш подарок и за доброе слово, его сопровождающее [144 - Чаадаев благодарит за пригласительный билет на публичный курс по истории русской словесности, прочитанный Шевыревым зимою 1844/45 г.]. Вы меня увидите на ваших лекциях прилежным и покорным слушателем. Будьте уверены, что если во всех мнениях ваших сочувствовать не могу, то в том, чтоб чрез изучение нашего прекрасного прошлого сотворить любезному отечеству нашему благо, совершенно с вами сочувствую.

Душевно вам преданный

Петр Чаадаев.

1845

Гр<афу> Сиркуру [145 - Граф Адольф де Сиркур живо интересовался культурной жизнью России и в 1843 г. писал в неопубликованном послании к Чаадаеву, одному из основных своих корреспондентов в Москве: «Было бы хорошо, если бы реальный, исторический и социальный характер славян был хорошо известен на Западе. У нас в ходу по этим вопросам только клеветнические романы, большей частью вдохновленные и комментируемые вашими собственными соотечественниками...» Большое значение Сиркур придавал изысканиям славянофилов, которые, замечал он, оказывают Европе большую услугу, показывая реальное величие прошлого России, где «были дни славы, поколения мучеников. Вы спасли восточную форму христианской религии, остановили кровавое течение азиатских вторжений в Европу, дали возможность восторжествовать в мире европейскому принципу над азиатским. В эпоху бесконечных социальных и интеллектуальных сложностей сохранили существование простых начал и идей, величественных в своей простоте». В письмах к Сиркуру Чаадаев высказывал свое понимание интересовавших французского корреспондента вопросов.]

Басманная, 15 января 1845

Только что получил тот номер «Semeur» [146 - Semeur - журнал с религиозной, философской, политической и литературной тематикой, издававшийся во Франции с 1831 по 1850 г.], где напечатан отрывок из проповеди нашего

митрополита[147 – Имеется в виду проповедь московского митрополита Филарета, произнесенная им в конце 1843 г. при освящении храма в московской пересыльной тюрьме. Чаадаев, встречавшийся с Филаретом и обсуждавший с ним конфессиональные вопросы, перевел эту проповедь на французский язык и отправил ее в Париж, где с помощью А.И. Тургенева и Сиркура она была напечатана в вышеупомянутом журнале.]. Журнал был адресован прямо владыке, у которого и находился до сих пор; вот почему я так долго не отвечал вам. Было бы, разумеется, лучше, если бы эти нескромные страницы попали сначала ко мне, и еще лучше, если бы проповедь была напечатана целиком и без странного комментария редакции[148 – В комментарии автор проповеди сравнивался с Иоанном Златоустом и представал необыкновенным реформатором, оправдывавшим допуск преступников в храм и приближавшим церковную практику к истинному духу Евангелия.]. К счастью, владыка не обратил на него большого внимания. Я только что виделся с ним; он принял меня как нельзя любезнее. Лестное предисловие, по-видимому, подкупило его. Вы отлично знаете, что во всех наших тюрьмах есть часовни и что в мире не существует церкви более снисходительной, чем православная. Она, может быть, даже слишком снисходительна. Религиозный принцип по самой своей природе склонен распалтаться (s'exalter) в том, что составляет его сокровенную суть, – так сказать, доводить до гиперболы то, что в нем есть наиболее глубокого. Наша же церковь по существу – церковь аскетическая, как ваша по существу – социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете. Это – два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям. А насчет того, чтобы видеть в нашем святом владыке реформатора, то от этого нельзя не расхохотаться. Он сам от всего сердца смеется над этим. Журналист просто-напросто принял риторическую фигуру, примененную к тому же, на мой взгляд, очень уместно, за религиозную революцию. Не могу надивиться на то, что&#769; делается с вашими наиболее серьезными мыслителями, как только они оказывают нам честь заговорить о нас. Точно мы живем на другой планете и они могут наблюдать нас лишь при помощи одного из тех телескопов, которые дают обратное изображение. Правда, тут есть и наша вина. Ошибки, в которые вы так часто впадаете на наш счет, объясняются отчасти тем, что пока мы принимали еще очень мало участия в общем умственном движении человечества. Но, я надеюсь, недалек тот день, когда мы займем ожидающее нас место в ряду народов – просветителей мира. Вы недавно сами видели нас и, конечно, не решитесь отрицать за нами прав на подобное место. Если же вы все-таки почему-нибудь еще не знаете в точности, каковы эти права, вам стоит лишь справиться об этом у молодой школы[149 – Под молодой школой подразумевается славянофильское течение.], красы России, чей вдохновенный жар и высокую важность вы сами имели случай оценить; и ручаюсь, что она представит вам внушительный список этих прав. Как видите, я несколько ославянился, как сказала бы m-me Сиркур. Что делать! Как спастись от этой заразы, тем более сильной, что она – совершенно новое патологическое явление в наших краях? В ту минуту, например, когда я пишу вам, у нас здесь читается курс истории русской литературы[150 – Имеется в виду упоминавшийся ранее публичный курс Шевырева.], возбуждающий все национальные страсти и поднимающий всю национальную пыль. Просто голова кругом идет. Ученый профессор поистине творит чудеса. Вы не можете себе представить, сколько дивных заключений он извлекает из ничтожного числа литературных памятников, рассеянных по необъятным степям нашей истории, сколько могучих сил он откапывает в нашем прошлом. Затем он сопоставляет с этим благородным прошлым жалкое прошлое католической Европы и стыдит ее с такой мощью и высокомерностью, что вы не поверите. Не думайте притом, чтобы это новое учение встречало среди нас лишь поверхностное сочувствие. Нет, успех оглушительный. Замечательно! сторонники и противники, все рукоплещут ему, – последние даже громче первых, очевидно прельщенные тем, что&#769; и им также представляется торжеством их нелепых идей. Не сомневаюсь, что нашему профессору в конце концов удастся доказать с полной очевидностью превосходство нашей цивилизации над вашей, – тезис, к которому сводится вся его программа. Во всяком случае, несомненно, что уже многим непокорным головам пришлось склониться пред мощью его кристально ясной, пламенной и картинной речи, вдохновляемой просвещенным патристическим чувством, столь родственным патриотизму наших отцов, и в особенности несомненной благосклонностью высших сфер, которые неоднократно во всеуслышание выражали свой взгляд на эти любопытные вопросы. Говорят, что он собирается напечатать свой курс; сочту за счастье представить его ученой Европе на языке, общем всему цивилизованному миру. Изданная по-французски, эта книга несомненно произведет глубокое впечатление в ваших широтах и даже, может быть, обратит

на путь истины изрядное число обитателей вашей дряхлой Европы, истомленной своей бесплодной рутинной и, наверное, не подозревающей, что бок о бок с нею существует целый неизвестный мир, который изобилует всеми не достающими ей элементами прогресса и содержит в себе решение всех занимающих ее и не разрешимых для нее проблем. Впрочем, ничего не может быть естественнее этого превосходства нашей цивилизации над западной. Что такое в конце концов ваше общество? Конгломерат множества разнородных элементов, хаотическая смесь всех цивилизаций мира, плод насилия, завоевания и захвата. Мы же, напротив, – не что иное, как простой, логический результат одного верховного принципа – принципа религиозного, принципа любви. Единственный чуждый христианству элемент, вошедший в наш социальный уклад, – это славянский элемент, а вы знаете, как он гибок и податлив. Поэтому все вожди литературного движения, совершающегося теперь у нас, – как бы далеко ни расходились их мнения по другим вопросам, – единогласно признают, что мы – истинный, богом избранный народ новейшего времени. Эта точка зрения не лишена, если хотите, некоторого аромата мозаизма; но вы не будете отрицать ее необычайной глубины, если обратите внимание на великолепную роль, которую играла церковь в нашей истории, и на длинный ряд наших предков, увенчанных ею ореолом святости. Мало того, один из замечательнейших наших мыслителей [151 – ...один из замечательнейших наших мыслителей... – Хомяков.], которого вы легко узнаете по этому признаку, недавно доказал с отличающей его силой логики, что в принципе христианство было возможно лишь в нашей социальной среде, что лишь в ней оно могло расцвести вполне, так как мы были единственным народом в мире, вполне приспособленным к тому, чтобы принять его в его чистейшей форме; откуда следует, как видите, что Иисус Христос, строго говоря, мог бы не рассылать своих апостолов по всей земле и что для исполнения распределенной между ними обязанности было совершенно достаточно одного апостола Андрея. Однако, само собою разумеется, что раз откровенное учение достигнет в этой предуготовленной ему обстановке своего полного развития, ничто не помешает ему продолжать свой путь для достижения своего мирового палингенезиса [152 – Палингенезис (от греч. palin – снова, обратно и genesis – происхождение, рождение) – возрождение.], и таким образом вы не совсем лишены надежды увидеть его когда-нибудь у себя. Конечно, было бы несколько затруднительно примирить эту теорию с принципом всемирности христианства, столь упорно исповедуемым в другой половине христианского мира; но именно этим коренным разногласием между обоими учениями и обуславливаются все наши преимущества перед вами. Таким образом, мы не осуждены, подобно вам, на вечную неподвижность и не окаменели в догмате, подобно вам: напротив, наше вероучение допускает необыкновенно удобные и разнообразные применения христианского начала, особенно по отношению к национальному принципу, и это есть неизмеримое преимущество, которое должно возбуждать в вас сильнейшую зависть. Еще наш милейший профессор недавно повествовал нам с высоты своей кафедры тоном глубочайшего убеждения и необыкновенно звучным голосом, что мы – избранный сосуд, предназначенный воспринять и сохранить евангельский догмат во всей его чистоте, дабы в урочное время передать его народам, устроенным менее совершенно, чем мы. Этот новый маршрут Евангелия – любопытное открытие нашей доморожденной мудрости – несомненно будет тотчас признан всеми христианскими общинами, как только он станет им известен; а тем временем пусть вас не слишком удивит, если как-нибудь на днях вы вдруг узнаете, что в ту эпоху, когда вы были погружены в средневековой мрак, мы гигантскими шагами шли по пути всяческого прогресса; что мы уже тогда обладали всеми благами современной цивилизации и большинством учреждений, которые у вас даже теперь можно найти лишь на степени утопий. Нет надобности говорить вам, какое пагубное обстоятельство остановило нас в нашем триумфальном шествии чрез пространство столетий: вы тысячу раз слышали об этом во время вашего пребывания в Москве [153 – Сиркуры приезжали в Москву в 1844 г.]. Но я не могу оставить вас в неизвестности относительно моего личного взгляда на этот предмет. Да, вторжение западных идей – идей, отвергаемых всем нашим историческим прошлым, всеми нашими национальными инстинктами, – вот что парализовало наши силы, извратило все наши прекрасные наклонности, исказило все наши добродетели, наконец, низвело нас почти на ваш уровень. Итак, мы должны вернуться назад, должны воскресить то прошлое, которое вы так злобно похитили у нас, восстановить его в возможной полноте и засесть в нем навсегда. Вот работа, которую заняты теперь все наши лучшие умы, к которой и я присоединяюсь всей душой и успех которой есть предмет моих желаний, особенно потому, что вполне оценить тот своеобразный поворот, который мы совершаем теперь, можно будет, по моему убеждению, лишь в день его окончательного торжества. – Не знаю, как вы взглянете на то, что я рассказал вам здесь, и надеюсь, что вы не ошибетесь насчет моего взгляда на эти вещи; но несомненно, что, если вы

Чаадаев П. письма filosoff.org

спустя несколько лет навестите нас, вы будете иметь полную возможность налюбоваться плодами нашего попятного развития... Я уже собирался запечатать это письмо, как получил вашу статью из «Semeur». Надеюсь, что его высокопреосвященство отнесется к вашей критике по-христиански. Ваши замечания, по-моему, несколько суровы, хотя в существе правильны. Мы еще потолкуем о них, когда я буду писать вам о впечатлении, которое они произведут на нашего достопочтенного пастыря. Мне еще не удалось добыть тот номер «Bibl. de Ge&#769;neve»[154 - Bibliothèque de Geneve - швейцарский журнал по вопросам науки, литературы и искусства.], о котором вы пишете мне; но надеюсь на этих днях достать его и прочитать вашу статью. Не откажите напомнить обо мне m-me Сиркур и уверить ее в моей преданности. Льщу себя надеждою, что она сохранила не слишком дурное воспоминание о нашем славянском фанатизме вообще и моем в частности. И я - не большой охотник до исключительного и узкого национализма; признаюсь даже, что невысоко ценю эту географическую добродетель, которую так кичилась языческая древность и которая чужда Евангелию. Однако вот соображение, которое я позволю себе предложить снисходительному вниманию m-me Сиркур. Нет никакого сомнения, что Париж - в настоящее время главный очаг социального движения в мире, что его салоны - привилегированные центры изустной мысли нашего века; несомненно также, что в наши дни идеи и умы именно в Париже ищут и получают свои венцы, патенты и ореол. Но нельзя же отрицать и того, что и в других местах кое-где существуют небольшие очаги, неведомые миру центры, и в этих очагах, в этих центрах - кое-какие бедные идеи, кое-какие бедные умы, которые без большой самонадеянности могут рассчитывать на долю - если не глубокого интереса, то по крайней мере серьезного любопытства, в особенности со стороны тех, кого противный ветер иногда заносит на наши бесплодные берега и кто таким образом может сам оценить те усилия, которые мы употребляем для их распашки. Примите, милостивый государь, выражение моей глубочайшей преданности.

П. Чаадаев.

А. И. Тургеневу[155 - Послание А. И. Тургеневу написано по-русски.]

Басманная. 15 февраля 1845

Вот письмо к Сиркуру[156 - Речь идет о письме Чаадаева к Сиркуру от 15 января 1845 г.]. Оно давным-давно написано, но как-то долго ждало попутного ветра. Из него узнаешь кое-что. О прочем с удовольствием бы к тебе написал, несмотря на проказы вашего превосходительства, но, право, нет ни времени, ни сил. Мы затопили у себя курную хату; сидим в дыму; зги божией не видать. Сам посудите, до вас ли нам теперь? Сиркуру, нечего делать, надо было написать. Митрополит тебе кланяется[157 - Имеется в виду московский митрополит Филарет.]. Он так же мил, свят и интересен, как и прежде. Ваши об нем bestолковые толки оставили его совершенно равнодушным и не нарушили ни на минуту его прекрасного спокойствия. О последней статье «Сеятеля» не успел еще написать Сиркуру ни слова; но вчера за обедом у К. В. Новосильцевой узнал, что владыка и за это не гневается.

И. В. киреевскому[158 - Послание киреевскому написано по-русски.]

<1845, май>[159 - дата в скобках поставлена публикатором.]

Я очень желал вас нынче у себя видеть, любезный Иван Васильевич, чтобы с вами прочесть речи Пиля и Росселя; но так как вы, вероятно, ко мне не будете, то я посылаю к вам лист дебатов с этим западным комеражем. Не знаю, почему мне что-то очень хочется, чтобы вы это прочли. Может статься, вы спокойно заметите, что&#769; в этом явлении европейской образованности находится одностороннего, и передадите впечатление ваше без ненависти и пристрастия.

Е. А. Свербеевой

<декабрь 1845 г.>[160 - дата в скобках поставлена публикатором.]

Вы совершенно правы, не желая пробуждать вновь тяжелое горе[161 – ...тяжелое горе – смерть А.И. Тургенева в декабре 1845 г.]. Я также избегаю говорить о нашем превосходном друге, и только общее сожаление иной раз приводит меня к этому. Не для того поэтому пишу я вам эти строки, чтобы говорить вам о нем, но чтобы сказать вам, что, если мы не будем возвращаться к этому грустному воспоминанию, наши обоюдные сожаления и наша общая утрата могли бы доставить нам, мне кажется, некоторые утешения, хотя бы безмолвные, и я уверен, что нежная душа оплакиваемого нами человека улыбнулась бы нам из своей небесной обители. Вот все, что я имею вам сказать, дорогая кузина. Прах друга, друга, любившего нас с таким полным отречением от всякой человеческой суетности, конечно, священен, и я счел бы себя очень несчастным, если бы я на минуту открыл в себе другое чувство, кроме моего горя, в особенности перед тою, которую он так долго окружал своим поклонением. Итак, я думаю, что мы можем видеться, не боясь усилить нашу печаль. Прощайте, дорогая кузина. Если нам следует подражать нашему другу, будем подражать ему также и в его великодушии.

1846

Гр<афу> Сиркуру

Я только что писал вам, милостивый государь, а теперь берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в печати статью нашего друга Хомякова, которая переведена мною и которую он хотел бы поместить в одном из ваших периодических изданий[162 – Речь идет о статье Хомякова «Мнения иностранцев о России», напечатанной в четвертой книге журнала «Москвитянин» за 1845 г. Автор статьи, помимо изложения своих теоретических взглядов на внешнюю и внутреннюю образованность, на подражательность мнимого и подлинность самобытного просвещения, скрыто полемизировал с упоминавшейся книгой маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году»]. Рукопись доставит вам на днях г. Мельгунов, которого вы, кажется, знаете. Излишне говорить, как мне приятно снова беседовать с вами. Тема статьи – мнения иностранцев о России. Вы знаете, что я не разделяю взглядов автора; тем не менее я старался, как вы увидите, передать его мысль с величайшей тщательностью. Мне было бы, пожалуй, приятнее опровергать ее; но я полагал, что наилучший способ заставить нашу публику ценить произведения отечественной литературы – это делать их достоянием широких слоев европейского общества. Как ни склонны мы уже теперь доверять нашему собственному суждению, все-таки среди нас еще преобладает старая привычка руководиться мнением вашей публики. Вы так хорошо знаете нашу внутреннюю жизнь, вы посвящены в наши семейные тайны; итак, моя мысль будет вам совершенно ясна. Я думаю, что прогресс еще невозможен у нас без апелляции к суду Европы. Не то чтобы в нашем собственном существе не крылись задатки всяческого развития, но несомненно, что почин в нашем движении все еще принадлежит иноземным идеям и – прибавлю – принадлежал им искони: странное динамическое явление, быть может не имеющее примера в истории народов. Вы понимаете, что я говорю не только о близких к нам временах, но обо всем нашем движении на пространстве веков. И прежде всего, вся наша умственность есть, очевидно, плод религиозного начала. А это начало не принадлежит ни одному народу в частности: оно, стало быть, постороннее нам так же, как и всем остальным народам мира. Но оно всюду подвергалось влиянию национальных или местных условий, тогда как у нас христианская идея осталась такою же, какою она была привезена к нам из Византии, то есть как она некогда была формулирована силою вещей, – важное обстоятельство, которым наша церковь справедливо гордится, но которое тем не менее характеризует своеобразную природу нашей народности. Под действием этой единой идеи развилось наше общество. К той минуте, когда явился со своим преобразованием Петр Великий, это развитие достигло своего апогея. Но то не было собственно социальное развитие: то был интимный факт, дело личной совести и семейного уклада, то есть нечто такое, что неминуемо должно было исчезнуть по мере политического роста страны. Естественно, что весь этот домашний строй, примененный к государству, распался тотчас, как только могучая рука кинула нас на попрание всемирного прогресса. Я знаю: нас хотят уверить теперь, что Петр Великий встретил в своем народе упорное сопротивление, которое он сломил будто бы потоками крови. К несчастью, история не отметила этой величественной борьбы народа с его государем. Но ведь ничто не мешало стране после смерти Петра вернуться к своим старым нравам и старым учреждениям. Кто мог запретить народному чувству проявиться

со всей присущей ему энергией в те два царствования, которые следовали за царствованием преобразователя? Конечно, ни Меншикову, правившему Россией при Екатерине I, ни молодому Петру II, руководимому Долгорукими и поселившемуся в древней столице России, очаге и средоточии всех наших народных предрассудков, никогда не пришло бы в голову воспротивиться национальной реакции, если бы народ вздумал предпринять таковую. За ужасным бироновским эпизодом последовало царствование Елизаветы, ознаменовавшееся, как известно, чисто национальным направлением, мягкостью и славой. Излишне говорить о царствовании Екатерины II, носившем столь национальный характер, что, может быть, еще никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия. Итак, очевидно, что мы с охотой приняли реформу Петра Великого; слабое сопротивление, встреченное им в небольшой части русского народа, было лишь вспышкой личного недовольства против него со стороны одной партии, а вовсе не серьезным противодействием проводимой им идее. Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне, все равно – чужеземцами или нашими собственными господами, является, следовательно, существенной чертой нашего нрава, врожденной или приобретенной – это безразлично. Этого не надо ни стыдиться, ни отрицать: надо стараться уяснить себе это наше свойство, и не путем какой-нибудь этнографической теории из числа тех, которые сейчас так в моде, а просто путем непредубежденного и искреннего уразумения нашей истории. Мне хочется передать вам вполне мою мысль об этом предмете. Постараюсь быть краток.

Мы представляем собою, как я только что заметил, продукт религиозного начала; это несомненно, но это не все. Не надо забывать, что это начало бывает действительно плодотворно лишь тогда, когда оно вполне независимо от светской власти, когда место, откуда оно осуществляет свое действие на народ, находится в области, недостижимой для властей земных. Так было в древнем Египте, на всем Востоке, особенно в Индии, и, наконец, в Западной Европе. У нас, к несчастью, дело обстояло иначе. При всем глубоком почтении, с которым наши государи относились к духовенству и христианским догматам, духовная власть далеко не пользовалась в нашем обществе всею полнотою своих естественных прав. Чтобы понять это явление, необходимо подняться мысленно к той эпохе, когда только складывался строй нашей церкви, то есть к Константину Великому. Всякий знает, что принятие христианства этим монархом как государственной религии было колоссальным политическим фактом, но, как мне кажется, вообще недостаточно ясно представляют себе влияние, которое оно оказало на самую религию. Нет никакого сомнения, что печать, наложенная этой революцией на церковь, оказалась бы для нее скорее пагубной, чем благотворной, если бы, по счастью, Константину не вздумалось перенести резиденцию правительства в новый Рим, что избавило старый от докучного присутствия государя. В эту эпоху Римская империя представляла собою уже не республиканскую монархию первых цезарей, а восточный деспотизм, созданный Диоклетианом и упроченный Константином. Поэтому императоры скоро сосредоточили в своих руках высшую власть духовную, так же как и светскую. Они смотрели на себя как на вселенских епископов, поставили свой трон в алтаре, председательствовали на церковных соборах, называли себя апостольскими и, наконец, как сообщает нам историк Сократ, присвоили себе полновластие в религиозных делах и невозбранно распоряжались на самых больших соборах. По словам св. Афанасия, Констанций говорил собравшимся вокруг него епископам: «то, чего я хочу, должно считаться законом церкви», и вы, конечно, знаете, что на Константинопольском соборе Феодосий Великий был приветствован титулом первосвященника. Таков был путь, которым шла императорская власть в первом веке христианской церкви. А в это самое время и ввиду этих вторжений светской власти в духовную сферу западная церковь, благодаря своей отдаленности от императорской резиденции, организуется вполне независимо, ее епископы простирают свою власть даже на светский быт, и римский патриарх, опираясь на престиж, какой сообщал ему этот высокий сан, кровь мучеников, которую пропитана почва вечного города, преемственная связь со старшим из апостолов, память о другом великом апостоле и, в особенности, присущая христианскому миру потребность в средоточии и символе единства, мало-помалу достигает той мощи, которая потом вступит в единоборство с империей и одолеет ее. Я знаю, среди ваших мыслителей эту победу одобряли только немногие, но мы, беспристрастные свидетели в этом деле, можем оценить ее лучше вашего; мы, неуклонно следующие по стопам Византии, слишком хорошо знаем, что представляет собою духовная власть, отданная на произвол земных владык. Я только что упомянул Феодосия Великого. Этот самый Феодосий, которого в Константинополе провозглашали первосвященником, – вы знаете, как сурово обошелся с ним св. Амвросий в Милане; и надо прибавить,

что последний, запретив императору вход в церковь, не удовольствовался этим, но велел также вынести из храма императорский престол. Это, на мой взгляд, как нельзя лучше обрисовывает характер той и другой церкви: здесь мы видим духовенство, одушевленное глубоким чувством независимости, стремящееся поставить духовную власть выше силы, там – церковь самое покорную материальной власти и домогающуюся стать как бы христианским халифатом.

Таково наследие, которое мы получили от Византии вместе с полнотою догмы и ее первоначальной чистотой. Эта чистота, без сомнения, – неоценимое благо, и она должна утешать нас во всех недостатках нашего духовного строя; но у нас идет речь сейчас только о нашем социальном развитии, и вы согласитесь, что западный религиозный строй гораздо более благоприятствовал такому рода развитию, нежели тот, который выпал на нашу долю. Надо все время помнить одно: что в нашем обществе не существовало никакого другого нравственного начала, кроме религиозной идеи, так что ей одной обязан наш народ своим историческим воспитанием и ей должно быть приписано все, что у нас есть, – доброе, как и злое. Итак, возвращаясь к нашему предмету, мы видим воочию, что эта наша готовность подчиняться разнородным предначертаниям извне есть неизбежное последствие религиозного строя, лишенного свободы, где нравственная мысль сохранила лишь видимость своего достоинства, где ее чтут лишь под условием, чтобы она держалась смиренно, где она пользуется авторитетом лишь в той мере, в какой его уделяет ей политическая власть, где, наконец, ее беспрестанно стесняют в деятельности ее служителей, в ее движениях и духе. Не знаю, согласитесь ли вы со мною, но мне кажется, что этим способом очень легко можно объяснить всю нашу историю. Народ простодушный и добрый, чьи первые шаги на социальном поприще были отмечены тем знаменитым отречением в пользу чужого народа, о котором так наивно повествуют наши летописцы, – этот народ, говорю я, принял высокие евангельские учения в их первоначальной форме, то есть раньше, чем в силу развития христианского общества они приобрели социальный характер, задаток которого был присущ им с самого начала, но который и должен был, и мог обнаружиться лишь в урочное время. Ясно, что нравственная идея христианства должна была оказать на этот народ только самое непосредственное свое действие, то есть до чрезвычайности усилить в нем аскетический элемент, оставляя втуне все остальные начала, заключенные в ней, – начала развития, прогресса и будущности. Христианская догма, как плод высшего разума, не подлежит ни развитию, ни совершенствованию, но она допускает бесчисленные применения в зависимости от условий национальной жизни. Известно, какие громадные явления, какие неизмеримые последствия породила жизнь западных народов, оплодотворенная христианством. Но это было возможно лишь потому, что эта жизнь, сама исполненная всевозможных плодоносных элементов, не была скована узким спиритуализмом, что она находила покровительство, сочувствие и свободу там, где у нас жизнь встречала лишь монастырскую суровость и рабское повиновение интересам государя. Неудивительно, что мы шли от отречения к отречению. Вся наша социальная эволюция – сплошной ряд таких фактов. Вы слишком хорошо знаете нашу историю, чтобы мне надо было перечислять их; довольно указать вам на колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собою не что иное, как строго логическое следствие нашей истории. Рабство всюду имело один источник: завоевание. У нас не было ничего подобного. В один прекрасный день одна часть народа очутилась в рабстве у другой просто в силу вещей, вследствие настоятельной потребности страны, вследствие непреложного хода общественного развития, без злоупотреблений с одной стороны и без протеста – с другой. Заметьте, что это вопиющее дело завершилось как раз в эпоху наибольшего могущества церкви, в тот памятный период патриаршества, когда глава церкви одну минуту делил престол с государем. Можно ли ожидать, чтобы при таком беспримерном в истории социальном развитии, где с самого начала все направлено к порабощению личности и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей культуры, вашего просвещения и авторитета? Это немислимо. Час нашего освобождения, стало быть, еще далек. Вся работа новой школы будет бесплодна до тех пор, пока наша ретроспективная точка зрения не изменится совершенно. Конечно, наука могущественна в наши дни; судьбы обществ в значительной степени зависят от нее, – но она действительно может влиять на народ лишь в том случае, когда она в области социальных идей оперирует так же беспристрастно и безлично, как она это делает в сфере чистого мышления. Только тогда ее формулы и теории способны действительно стать выражением законов социальной жизни и влиять на нее, как в естественных науках они постоянно выражают законы природы и дают средства влиять на нее. Я уверен, придет время, когда мы сумеем так понять наше прошлое, чтобы извлекать из него плодотворные выводы для нашего будущего, а пока нам следует

Чаадаев П. письма filosoff.org

довольствоваться простой оценкой фактов, не сиюсь определять их роль и место в деле созидания наших будущих судеб. Мы будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь, когда из наших уст помимо нашей воли вырвется признание во всех наших заблуждениях, во всех ошибках нашего прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раскаяния и скорби, отзвук которого наполнит мир. Тогда мы естественно займем свое место среди народов, которым предназначено действовать в человечестве не только в качестве таранов или дубин, но и в качестве идей. И не думайте, что нам еще очень долго ждать этой минуты. В недрах этой самой новой школы, которая силится воскресить прошлое, уже не один светлый ум и не одна честная душа вынуждены были признать тот или другой грех наших отцов. Мужественное изучение нашей истории неизбежно приведет нас к неожиданным открытиям, которые прольют новый свет на нашу протекшую жизнь; мы научимся, наконец, знать не то, что у нас было, а то, чего нам не хватало, не что надо вернуть из былого, а что из него следует уничтожить. Ничто не может быть благодатнее того направления, которое приняла теперь наша умственная жизнь. Благодаря ему огромное число фактов воскрешено из забвения, интереснейшие эпохи нашей истории воссозданы вполне, и в ту минуту, когда я пишу вам, готовится к выходу в свет крупный труд подобного рода. С другой стороны, воззрение, противоположное национальной школе, также принуждено заняться серьезными изысканиями в исторической области, и, исходя из совершенно иной точки зрения, оно приходит к результатам не менее непредвиденным. Нельзя отрицать: бесстрашие, с которым оба воззрения исследуют свой предмет, делает честь нашему времени и подает добрые надежды на будущее, когда наш язык и ум будут свободнее, когда они уже не будут, как всегда до сих пор, скованы путами лицемерного молчания. Столь часто повторяемое теперь сравнение нашей исторической жизни с исторической жизнью других народов показывает нам на каждом шагу, как резко мы отличаемся от них. Позже мы узнаем, можно ли народу так обособиться от остального мира и должен ли он считаться частью исторического человечества, раз он может предъявить последнему только несколько страниц географии. Если мне удалось выяснить те две идеи, которые делят между собою теперь наше мыслящее общество [163 – Чаадаев имеет в виду идейную борьбу славянофилов и западников.], я доволен, и вы можете видеть, что я продолжаю по-прежнему откровенно выражать мою мысль о моей родной стране. В эпоху, когда смерть и возрождение народов занимают столько умов, нельзя, мне кажется, лучше уяснить своей стране ее собственную национальность, как изобразив ее пред всем миром, пред глазами иностранцев и соотечественников, такую, какую она представляется нам самим. Тогда всякий может поправить нас, если мы ошиблись.

Я обещал вам быть кратким. Не знаю, сдержал ли я слово, но знаю наверное, что, если бы я захотел руководиться тем чувством удовольствия, которое я испытываю, беседуя с вами о ваших делах, вам пришлось бы осиливать бесконечное письмо.

Ю. Ф. Самарину [164 – В «Сочинениях и письмах П.Я. Чаадаева» это послание помечено как письмо неизвестному адресату. Отношения Чаадаева с видным представителем славянофильства Ю.Ф. Самариним, которому он не стеснялся поверять и задушевные движения, и изменения в мыслях, были проникнуты взаимной симпатией и дружеским общением. «Едва ли нужно уверять вас, – благодарил впоследствии Самарин М.И. Жихарева за присланную фотографию кабинета Чаадаева, – что я ценю как нельзя более этот подарок, живо напоминающий мне почтенного и всегда радушного хозяина, общих его и моих друзей, живые беседы, живые, теперь, к несчастью, отошедшие на задний план, интересы того времени. В этом самом, так верно и отчетливо воспроизведенном кабинете, я в первый раз встретился и познакомился с А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским».]

Басманная. 15 ноября 1846

Благодарю вас, любезный друг, за ваше письмо. Я ведь говорил вам, что у вас сердце ни в чем не уступает уму. Многим покажется чрезмерной такая похвала, но я уверен, что этого не найдут ни ваши лучшие друзья, ни люди, умеющие ценить свойства возвышенного ума. Дело в том, что люди вашего пошиба бывают почти всегда очень добрыми людьми. Человек гораздо цельнее, нежели думают. Поэтому я составил себе свое мнение о вас уже с первых дней нашего знакомства, и мне казалось очень странным, что ваши друзья постоянно твердили мне только о вашем уме. К тому же есть столько вещей, доступных

только взору, идущему от сердца, неуловимых иначе, как органами души, что нет возможности оценить вполне объем нашего ума, не принимая во внимание всю нашу личность. Я рад случаю сказать вам свое мнение о вас, и мне отрадно думать, что, может быть, я способствовал развитию наиболее ценных свойств вашей природы. Примите, мой друг, это наследство человека, влияние которого на его ближних бывало порой не бесплодно. Если моей усталой жизни суждено скоро кончиться, ничто не усладит моих последних дней больше, чем память о привязанности, которой мне отвечали на мою любовь к ним несколько молодых, горячих сердец. Вы из их числа. Мне донельзя жаль, что вы застали меня в одну из моих худших минут [165 – в 1846 г. Чаадаев переживал тяжелый душевный кризис и расстройство физического здоровья.], и я от всего сердца желаю, чтобы это неприятное впечатление не оставило следа на вашей счастливой жизни. Моя жизнь сложилась так причудливо, что, едва выйдя из детства, я оказался в противоречии с тем, что меня окружало; это, конечно, не могло не отразиться на моем организме, и в моем теперешнем возрасте мне ничего другого не остается, как принять это неизбежное следствие моего земного поприща. К счастью, жизнь не кончается в день смерти, а возобновляется за ним. Как бы ни был этот день далек или близок, я надеюсь, что до него вы сохраните мне то расположение, которое вы мне теперь выказали. Если мы и не всегда были одного мнения о некоторых вещах, мы, может быть, со временем увидим, что разница в наших взглядах была не так глубока, как мы думали. Я любил мою страну по-своему, вот и все, и прослыть за ненавистника России было мне тяжелее, нежели я могу вам выразить. Довольно жертв. Теперь, когда моя задача выполнена, когда я сказал почти все, что имел сказать, ничто не мешает мне более отдаться тому врожденному чувству любви к родине, которое я слишком долго сдерживал в своей груди. Дело в том, что я, как и многие мои предшественники, боюсь лишь меня, думал, что Россия, стоя лицом к лицу с громадной цивилизацией, не могла иметь другого дела, как стараться усвоить себе эту цивилизацию всеми возможными способами; что в том исключительном положении, в которое мы были поставлены, для нас было немыслимо продолжать шаг за шагом нашу прежнюю историю, так как мы были уже во власти этой новой, всемирной истории, которая мчит нас к любой развязке. Быть может, это была ошибка, но, согласитесь, ошибка очень естественная. Как бы то ни было, новые работы, новые изыскания познакомили нас со множеством вещей, остававшихся до сих пор неизвестными, и теперь уже совершенно ясно, что мы слишком мало походим на остальной мир, чтобы с успехом подвигаться по одной с ним дороге [166 – Эти размышления характерны для неоднозначных колебаний в исторических воззрениях Чаадаева.]. Поэтому, если мы действительно сбились с своего естественного пути, нам прежде всего предстоит найти его, – это несомненно. Но раз этот путь будет найден, что тогда делать? Это укажет нам время. А пока будем все без исключения работать единократно и добросовестно в поисках его, каждый по своему разумению. Для этого никому из нас нет необходимости отрекаться от своих убеждений. Одобряем ли мы или не одобряем тот путь, по которому мы недавно двигались, нам все равно придется вернуться в известной мере к нему, так как очевидно, что наше уклонение с него нам решительно не удалось. Да и есть ли возможность неподвижно держаться своих мнений среди той ужасающей скачки с препятствиями, в которую вовлечены все идеи, все науки и которая мчит нас в неведомый нам новый мир! Все народы подают теперь друг другу руку: пусть то же сделают и все мнения. Таков, по-моему, лучший способ удержаться в правде реальной и живой, всегда согласованной с данной минутой. Эпоха железных дорог не должна ли быть эпохой всевозможных сближений? Я говорю это серьезно, а не для игры слов. – Я позабыл вам сказать, что ваши друзья дуются на вас за то, что вы написали мне на презренном наречии Запада; итак, пишите мне на туземном языке, если хотите доставить им удовольствие. Говорят, что вы продолжаете с успехом обращаться; если это правда, надо будет признать в этом явление большой важности. До свидания, любезный друг. Отовсюду вам всяческий привет, не считая моего, очень искреннего и очень нежного.

Петр Чаадаев.

1847

Кн<язю> П. А. Вяземскому [167 – Написанное по-русски послание Вяземскому Чаадаев долго не отсылал, давая, по обыкновению, его списывать разным людям. Еще в феврале 1848 г. Вяземский не получил письма, хотя и знал о его

существовании.]

Спасибо, любезный князь, за ваше милое письмо. Дело К. постараемся сами устроить; а вас все-таки благодарим за ваше участие[168 - Чаадаев просил Вяземского устроить в Петербурге на службу брата молодого московского профессора К.Д. Кавелина, но тому этого сделать не удалось.]. С вашим суждением о нашем житье-бытье я не совершенно согласен, хотя, впрочем, вы во многом и правы. Что мы умны, в том никакого нет сомнения, но чтоб в уме нашем вовсе не было проку - с этим никак не могу согласиться. Неужто надо непременно делать дела; чтобы делать дело? Конечно, можно делать и то и другое; но из этого не следует, чтобы мысль, и не выразившаяся еще в жизни, не могла быть вещь очень дельная. Настанет время, она явится и там. Разве люди живут в одних только департаментах да канцеляриях? Вы скажете, что мысли наши не только не проявляются в жизни, но и не высказываются на бумаге. Что ж делать? Знать, грамотка нам не далась. Но зато если б послушали наши толки! Нет такого современного или несовременного вопроса, которого бы мы не решили, и все это в честь и во славу святой Руси. Поверьте, в наших толках очень много толку. Мир всплеснет руками, когда все это явится на свет дневной. Но поговорим лучше о деле, и вам и нам общим.

У вас, слышно, радуются книгою Гоголя[169 - Речь идет о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», выход которой в начале 1847 г. возбудил общество не менее «телескопского» письма Чаадаева и вызывал разные критические замечания. Если с отдельными из этих замечаний в их частных приложениях автор философических писем и мог согласиться, то в целом он видел в необычном сочинении Гоголя определенную и близкую ему строгую иерархию, где личная боль и самоанализ обусловлены заботой об общем деле, а общее дело вытекает из высших и абсолютных представлений о бытии и судьбах человеческого рода.]; а у нас, напротив того, очень ею недовольны. Это, я думаю, происходит оттого, что мы более вашего были пристрастны к автору. Он нас немножко обманул, вот почему мы на него сердимся. Что касается до меня, то мне кажется, что всего любопытнее в этом случае не сам Гоголь, а то, что; его таким сотворило, каким он теперь пред нами явился. Как вы хотите, чтоб в наше надменное время, напыщенное народною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтоб голова у него не закружилась? Это просто невозможно. Мы нынче так довольны всем своим родным, домашним, так радуемся своим прошедшим, так потешаемся своим настоящим, так величаемся своим будущим, что чувство всеобщего самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам. Коли народ русский лучше всех народов в мире, то, само собою разумеется, что и каждый даровитый русский человек лучше всех даровитых людей прочих народов. У народов, у которых народное чувство искони в обычае, где оно, так сказать, поневоле вышло из событий исторических, где оно в крови, где оно вещь пошлая, там оно, по этому самому, принадлежит толпе и ум высокий никакого действия иметь уже не может; у нас же слабость эта вдруг развернулась, наперекор всей нашей жизни, всех наших вековых понятий и привычек, так что всех застала врасплох, и умных и глупых: мудрено ли, что и люди, одаренные дарами необыкновенными, от нее дуреют! Сто;ит только посмотреть около себя, сейчас увидишь, как это народное чванство, нам доселе чуждое, вдруг изуродовало все лучшие умы наши, в каком самодовольном упоении они утопают, с тех пор, как совершили свой мнимый подвиг, как открыли свой новый мир ума и духа! Видно, не глубоко врезаны в душах наших заветы старины разумной; давно ли, повинувшись своенравной воле великого человека, нарушили мы их перед лицом всего мира и вот вновь нарушаем, повинувшись какому-то народному чувству, бог весть откуда к нам занесенному!

Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия, которые преклоняются пред ним, как пред высшим проявлением самобытного русского ума, которые ожидают от него какого-то преображения русского слова, которые налагают на него чуть не всемирное значение, которые, наконец, навязали на него тот гордый, не сродный ему патриотизм, которым сами заражены, и таким образом задали ему задачу неразрешимую, задачу невозможного примирения добра со злом: достоинства же ее принадлежат ему самому. Смирение, насколько его есть в его книге, плод нового направления автора; гордость, в нем проявившаяся, привита ему его друзьями. Это он сам говорит, в письме к кн. Львову, написанном по случаю этой книги[170 - Чаадаев имеет в виду следующие строки Гоголя в письме к цензору В.В. Львову от 20 марта 1847 г.: «Стыд этот мне нужен. Не появись моя книга, мне бы не было и вполнину известно мое душевное состояние. Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы передо мной в такой наготе: мне бы никто их не указал. Люди, с которыми я нахожусь ныне в

сношениях, уверены не шутя в моем совершенстве»]. Разумеется, он родился не вовсе без гордости, но все-таки главная беда произошла от его поклонников. Я говорю в особенности о его московских поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас на Москве это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех иных писателей настоящего времени и прошлого. Это странно, но это сущая правда. Этим поклонников я знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные, хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь, над всеми народами в мире, им непременно захотелось себя и всех других уверить, что мы призваны быть какими-то наставниками народов. Вот и нашелся, на первый случай, такой крошечный наставник, вот они и стали ему про это твердить на разные голоса, и вслух и на ухо; а он, как простодушный, доверчивый поэт, им и поверил. К счастью его и к счастью русского слова, в нем таился, как я выше сказал, зародыш той самой гордости, которую в нем силились развить их хваления. Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни малейшего уважения. Это можете видеть из этой его книги и выражается в его разговоре на каждом слове. От этого родилось в нем какое-то тревожное чувство к самому себе, усиленное сначала болезненным его состоянием, а потом новым направлением, им принятым, быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяжкого, неисполнимого урока, ему заданного современными причудами. Нет сомнения, что если б эти причуды не сбили его с толку, если б он продолжал идти своим путем, то достиг бы чудной высоты; но теперь, бог знает, куда заведут его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий, неразумных внушений и неумеренных похвал!

У нас в Москве, между прочим, вообразили себе, что новым своим направлением обязан он так называемому Западу, стране, где он теперь пребывает, иезуитам. На этой счастливой мысли остановился наш замысловатый приятель в «Московских ведомостях» и, вероятно, разовьет ее в следующем письме с обычным своим остроумием[171 – Речь идет об известных «Письмах» Н.Ф. Павлова к Гоголю, появившихся в «Московских ведомостях»]. Но иезуитство, как его разумеют эти господа, существует в сердце человеческого с тех пор, как существует род человеческий; за ним нечего ходить в чужбину; его найдем и около себя, и даже в тех самых людях, которые в нем укоряют бедного Гоголя. Оно состоит в том, чтобы пользоваться всеми возможными средствами для достижения своей цели; а это видано везде. – Для этого не только не нужно быть иезуитом, но и не надо верить в бога; стоит только убедиться, что нам нужно прослыть или добрым христианином, или честным человеком, или чем-нибудь в этом роде. В Гоголе ничего нет подобного. Он слишком спесив, слишком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, чтобы быть иезуитом. Некоторые из его порицателей особенно отличаются своею ловкостью, искусством промышлять всем, что ни попадет им под руки, и в этом отношении они совершенные иезуиты. Он больше ничего, как даровитый писатель, которого чрез меру возвеличили, который попал на новый путь и не знает, как с ним сладить. Но все-таки он тот же самый человек, каким мы его и прежде знали, и все-таки он, и в том болезненном состоянии души и тела, в котором находится, стократ выше всех своих порицателей – и когда захочет, то сокрушит их одним словом и разметет, как былые непотребные.

Эти строки были написаны до получения вашей книжечки[172 – Имеются в виду статьи Вяземского «Языков и Гоголь», напечатанные в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, вероятно, присланные Чаадаеву в виде оттиска.]; с тех пор был я болен и не мог писать. Благодарю за присылку. – Не стану переназначать письма; а скажу вам в двух словах, как сумею, свое мнение о вашей статье. Вам, вероятно, известно, что на нее здесь очень гневаятся. Разумеется, в этом гневе я не участвую. Я уверен, что если вы не выставили всех недостатков книги, то это потому, что вам до них не было дела, что они и без того достаточно были выказаны другими. Вам, кажется, всего более хотелось показать ее важность в нравственном отношении и необходимость оборота, происшедшего в мыслях автора, и это, по моему мнению, вы исполнили прекрасно. Что теперь ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих и мыслящих людей как самое честное слово, произнесенное об этой книге. Все, что ни было о ней сказано другими, преисполнено какою-то странною злобою против автора. Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось поговорить с нами не смеясь, что с ним случилось то, что ежедневно случается в кругу обыкновенной жизни с людьми менее известными, и что он

Чаадаев П. письма filosoff.org

осмелился нам про это рассказать по вековечному обычаю писателей, питающих сознание своего значения. Позабывают, что писатель, и писатель столь известный, не частный человек, что скрыть ему свои новые, задушевные чувства было невозможно и не должно; что он, не одним словом своим, но и всей своей душой, принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свыше ему данный; забывают, что при некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся. Вы одни относитесь с любовью о книге и авторе: спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и более иссякает, по крайней мере в мире печатном: итак, спасибо вам еще раз! На меня находит невыразимая грусть, когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, доставившего нам столько слезных радостей, за то только, что перестал нас тешить и, с чувством скорби и убеждения, исповедуется пред нами и старается, по силам, сказать нам доброе и поучительное слово. Все, что мне бы хотелось сказать вам на этот счет, вы отчасти уже сказали сами несравненно лучше, чем бы мне удалось тоже выразить, особенно на языке, которым так бессильно владею; но одно, о чем намекал уже в первых своих строках, кажется, упустили из виду, а именно высокомерный тон этих писем. Я уже сказал, какому влиянию его приписываю; но нельзя же, однако, и самого Гоголя в нем совершенно оправдать, особенно при том духовном стремлении, которое в книге его обнаруживается. Это вещь, по моему мнению, очень важная. Мы искони были люди смиренные и умы смиренные; так воспитала нас церковь наша. Горе нам, если изменим ее мудрому учению! Ему обязаны мы всеми лучшими народными свойствами своими, своим величием, всем тем, что отличает нас от прочих народов и творит судьбы наши. К сожалению, новое направление избраннейших умов наших именно к тому клонится, и нельзя не признаться, что и наш милый Гоголь, тот самый, который так резко нам высказал нашу грешную сторону, этому влиянию подчинился. Пути наши не те, по которым странствуют прочие народы; в свое время мы, конечно, достигнем всего благого, из чего бьется род человеческий; а может быть, руководимые святою верою нашею, и первые узрим цель, человечеству богом предназначенную; но по сию пору мы еще столь мало содействовали к общему делу человеческому, смысл значения нашего в мире еще так глубоко таится в сокровенных провидениях, что безумно бы было нам величаться пред старшими братьями нашими. Они не лучше нас; но они опытнее нас. Ваша деловая петербургская жизнь заглушает вас; вам не все слышно, что гласится на земле русской. Прислушайтесь к глаголам нашим; они поведают вам дивные вещи. В первой половине статьи вашей вы сказали несколько умных слов о нашей новоизобретенной народности; но ни слова не упомянули о том, как мы невольно стремимся к искажению народного характера нашего. Помыслите об этом. Не поверите, до какой степени люди в краю нашем изменились с тех пор, как облеклись этой народною гордынею, неведомой боголюбивым отцам нашим. Вот что меня всего более поразило в книге Гоголя и чего вы, кажется, не заметили. Во всем прочем с вами заодно. Поклонитесь Тютчеву, княгине сердечный мой поклон; сыну вашему *une bonne poignée de main*. [173 - *une bonne poignée de main* - крепкое рукопожатие (франц.).]

Басманная. 29 апреля 1847 г.

Ф. И. Тютчеву [174 - Это послание, как и письмо следующего года к Тютчеву, печатается по тексту публикации Шаховского в кн.: Литературное наследство, 1935, т. 19-21. Чаадаева и Тютчева связывали приятельские отношения, о своеобразии которых так писал М.И. Жихарев: «Наиболее несогласные с Чаадаевым были с ним и наиболее дружными. Решительный противник его Ф.И. Тютчев часто говаривал о нем: „Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех“.]

Басманная, 10 мая

Я в восхищении, дорогой\*\*\* (Тютчев) [175 - фамилия в скобках указана публикатором.], что вы удовлетворены моим портретом [176 - Тютчев в числе первых получил один из оригинальных портретов Чаадаева и так благодарил его за это в письме от 13 апреля 1847 г.: „Наконец-то, любезный Чаадаев, в моих руках прекрасный подарок, вручаемый мне вашей дружбой. Я был польщен и тронут более, чем могу то выразить. В самом деле, я мог ждать только скромной литографии; судите же, с каким признательным удивлением я получил от вас прекрасный портрет, столь удовлетворяющий всем желанием... Это поразительное сходство навело меня на мысль, что есть такие типы людей,

Чаадаев П. письма filosoff.org

которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...“]. Он должен был быть литографирован в Москве, но так как здесь не нашлось хорошего литографа, то он был послан в Петербург, и я полагал, что вы столь же охотно примете оригинал, как приняли бы и копию. Если бы вы согласились принять на себя труд справиться, какой литограф наиболее славится в Петербурге и какова его цена, и сообщить мне об этом в двух словах, я был бы вам бесконечно обязан. Как вы знаете, не раз ко мне обращались с просьбой дать мое несчастное изображение: поэтому поневоле приходится постараться пойти навстречу этой настойчивой приязни. Я собирался писать об этом Вяземскому в момент получения вашего письма: как раз намереваюсь писать ему с тем, чтобы похвалить его статью о Гоголе[177 – Речь идет о статьях Вяземского „Языков и Гоголь“.); я нахожу ее отличной в противоположность мнению почти всей нашей литературной братии, озлобление которой против этого несчастного гениального человека не поддается описанию. Один только Хомяков остался ему или, лучше сказать, самому себе верен.

Так как вас несомненно интересуют наши домашние дела, то вам не безразлично будет узнать, что последний сейчас ввязался в очень серьезную полемику с Грановским по поводу Бургиньонов и Франков[178 – Poleмика между Грановским и Хомяковым о времени и месте передвижения и оседлости бургиньонов и франков в эпоху переселения народов возникла в связи с появлением статьи Хомякова, служившей предисловием к изданию Д.А. Валуева „Сборник исторических и статистических сведений о России и народах, ей единоплеменных“ (М., 1845).]. Как вы видите, мы не теряем своего времени по-пустому, и вопросы текущего дня занимают нас не менее, чем остальной мир. Правда, нам не хватает времени слишком много возиться со всеми нелепостями, происходящими в Европе, такими, как, например, прусские дела и другие им подобные, но у нас его больше, чем надо, чтобы достойно готовиться, в качестве нового народа божия, к великой предназначенной нам миссии, руководить умственным и общественным движением человеческого рода. Многозначительному спору, о котором я вам сообщаю, придает еще большую значительность то, что с этим связано нравственное положение друга нашего Хомякова, среди представителей одной с ним масти, а вы знаете, каково это положение[179 – Имеется в виду главенствующее положение Хомякова среди славянофилов.]. Впрочем, что бы с ним при этом ни случилось, он, по моему мнению, всегда сохранит ту долю уважения, которой заслуживает, потому что, по счастью, в людях всегда имеется нечто более важное, чем их знание.

Что сказать мне про себя и про свое жалкое здоровье? Мы постоянно раскачиваемся между благом, которое я не почитаю благом, и злом, которое, говорят, вовсе не есть зло. Я прозябаю, таким образом, в обманчивости духа и плоти. Все это, как вы легко поймете, делает меня отнюдь не забавным для других, за исключением редкой дружбы, забредшей в глушь и столь же упорной, как ваша, но приходится поневоле мириться с тягостью обманного существования, которое сам по себе создал. Ваша дружба, несмотря на разделяющие нас пространства, составляет одно из самых моих отрадных утешений, а ныне, ввиду обещанного нам близкого вашего прибытия в наши широты, я прибавлю еще, что оно поддерживает во мне самую пленительную надежду. Приезжайте же, вы на деле убедитесь, какое важное значение могут иметь подлинные симпатии одного разумного существа для другого такого же или по крайней мере таким когда-то почитавшегося.

Но только торопитесь, потому что, чем больше я об этом думаю, тем сильнее убеждаюсь, что пора мне сгинуть со света тем или другим путем, через бегство или могилу. Что ни день, я вижу, как возникают вокруг меня какие-то новые притязания, которые выдают себя за новые силы, старые обманы, которые принимаются за старые истины, шутовские идеи всякого рода, которые признаются серьезными делами; и все это принимает осанку авторитета, власти, высшего судилища, выносит вам приговоры осуждения или оправдания, лишает вас слова или разрешает говорить. Чувствуешь себя как бы в исправительной полиции в каждый час своей жизни. Что прикажете делать в этом новом мире, где ничто мне не улыбается, ничто не протягивает мне руку и не помогает жить? В конце концов, я все же предпочитаю погибнуть от скуки, порожденной унынием одиночества, чем от руки тех людей, которых я так любил, которых я и теперь еще люблю, которым я служил по мере своих сил и готов был бы еще послужить.

Прощайте, дорогой друг. Верьте, прошу вас, моему чувству глубокой привязанности, с нетерпением жаждущей отрадного общения с вами.

Петр Чаадаев.

М. П. Погодину[180 – Написанное по-русски послание Чаадаева является ответом на следующие строки из письма Погодина: „Москвитянин“ возобновляется и смеет ласкать себя надеждою, что вы не лишите его своего участия. Вчера не успел я передать вам убедительную просьбу – приготовить для украшения первой книги ваши воспоминания о Пушкине. Также не позволите ли вы включить ваше имя в число сотрудников при объявлении?«]

Милостивый государь Михаил Петрович.

Благодарю вас за лестное приглашение участвовать в издании «Москвитянина». Не почитаю себя вправе отказаться, но должен вам напомнить, что имя мое, хотя и мало известное в литературном мире, считалось по сие время принадлежащим мнениям, не совершенно согласным с мнениями «Москвитянина». Если принятием меня в ваши сотрудники вы желаете обнаружить стремление менее исключительное, то мне приятно будет по силам сопутствовать вашему журналу. Я полагаю, что, приглашая меня, вы имели это в виду и что объявление ваше будет написано в этом смысле. Примирения с противоположными мнениями, в наше спесивое время, ожидать нельзя, но менее исключительности вообще и более простора в мыслях, я думаю, можно пожелать. Мысль или сила, которая должна произвести сочетание всех разногласных понятий о жизни народной и ее законах, может быть, уже таится в современном духе и, может стать, как и прежде бывало, возникает из той страны, откуда ее вовсе не ожидают; но до той поры, пока не настанет час ее появления, всякое честное мнение, каждый чистый и светлый ум должны молить об этом сочетании и вызывать его всеми силами. Умеренность, терпимость и любовь ко всему доброму, умному, хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось, вот мое исповедание: оно, вероятно, будет и исповеданием возобновленного «Москвитянина».

Что касается до воспоминаний о Пушкине, то не знаю, успею ли с ними сладить вовремя. Очень знаешь, что об нем сказать, но как быть с тем, чего нельзя сказать? Здоровье мое плохо, но за доброю волею дело не станет.

М. П. Погодину[181 – Написанные по-русски следующие четыре послания к Погодину свидетельствуют о его достаточно коротких отношениях с Чаадаевым.]

Получив вашу записку поздно, не мог воротить своего письма, которое не у меня. Если угодно, то буду к вам завтра и постараюсь достать письмо.

Примите уверение в моем глубоком почтении.

Пишу не из дому, потому простите за неряхость этих строчек.

М. П. Погодину

Извините, если я вам еще раз пишу про то же. Но что делать? Весьма почтенная дама требует от меня этого листка. Что мне сделать? Не отлагайте, прошу вас; пришлите его завтра по городской почте и примите между тем уверенность в моей совершенной преданности.

Вам покорный Петр Чаадаев.

М. П. Погодину

Вчера, в Петровском[182 – Петровское – загородная местность близ Москвы.], сказывал мне А. Н. Бахметьев, что получил от вас книжку вашего сочинения, очень любопытную, и что вы намерены и мне ее дать. Я с удовольствием бы сам к вам за ней заехал, но на днях не буду в вашей стороне, а любопытство мое нетерпеливо. Если вы мне ее пришлете в воскресенье – то это очень будет кстати, а я вас за это приеду сам благодарить на той неделе и в удобный час для узрения ваших драгоценностей.[183 – Речь идет о приобретениях

Чаадаев П. письма filosoff.org  
древлехранилища Погодина.]

Вам истинно преданный Петр Чаадаев.

Пятница

М. П. Погодину

Всякое утро собираюсь к вам, почтеннейший Михайло Петрович, для обозрения вашего музеума. На днях прочитав в «Москвитянине» новые ваши приобретения, это желание еще сильнее ощущаю. Но, видно, с утром не слажу. Итак, позвольте приехать к вам вечером, часу в 8-ом. Если это дело возможно, то известите меня, не могу ли быть к вам, напр., во вторник. Очень обяжете, если доставите мне случай увидеть ваши драгоценности и вместе с тем побеседовать с вами. От души вам преданный.

Петр Чаадаев.

Суб<бота>.

1848

С. П. Шевыреву [184 - Послание Шевыреву написано по-русски.]

Вчера, бывши в Сокольниках, искал вашего дома, возвращаясь от Дюклу в темноте, но не нашел. Я имел с собою для вас меморию Тютчева [185 - Речь идет о записке Тютчева «Россия и революция», составленной в связи с европейскими волнениями весной 1848 г. и напечатанной в Париже в следующем году. Чаадаев прочитал ее еще в рукописи и знакомил с ней московское общество летом 1848 г.], которую теперь вам посылаю. Желал бы очень дать ее прочесть Погодину, но не знаю, как бы это устроить; она мне нужна в понедельник. Прочитав, увидите, что вещь очень любопытная. Жаль, что нет здесь Хомякова: послушал бы его об ней толков. Если сами ко мне не пожалуете в понедельник, то пришлите тетрадку.

Вам душою и мыслию преданный

Чаадаев.

Ф. И. Тютчеву

Я только что прочитал, дорогой\*\*\* (Тютчев) [186 - фамилия в скобках поставлена публикатором.], вашу интересную записку [187 - Имеется в виду упомянутая записка Тютчева, которая произвела на Чаадаева большое впечатление и вызвала у него достаточно неожиданные в сравнении с философическими письмами размышления.] о текущих событиях: прежде всего позвольте мне высказать то удовольствие, которое я испытал при ее чтении; затем я, быть может, смогу еще кое-что к этому прибавить. Как вы очень правильно заметили, борьба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос. Но, признаюсь вам, меня повергает в изумление не то, что умы Европы под давлением неисчислимых потребностей и необузданных инстинктов не постигают этой столь простой вещи, а то, что вот мы, уверенные обладатели святой идеи, нам врученной, не можем в ней разобраться. А между тем ведь мы уже порядочно времени этой идеей владеем. Так почему же мы до сих пор не осознали нашего назначения в мире? Уж не заключается ли причина этого в том самом духе самоотречения, который вы справедливо отмечаете как отличительную черту нашего национального характера? Я склоняюсь именно к этому мнению, и это и есть то, что, на мой взгляд, особенно важно по-настоящему осмыслить.

Нельзя достаточно настаивать на том, что социальная драма, при которой мы в настоящее время присутствуем, есть прямое продолжение религиозной драмы XVI

века, этого гордого протеста человеческого разума против авторитета предания и против духовного принципа, – разума, стремящегося владычествовать над обществом. И вот вскоре обнаружилось, что этот протест, казавшийся самым зрелым умом эпохи столь законным и который действительно был таковым, но от которого тем не менее зависело все будущее народов Европы, сперва внес анархию в религиозные идеи, а затем обрушился на самые основы общества, отвергнув божественный источник верховной власти. Мы были свидетелями великого события, не принимая в нем участия: мы имели возможность оценить его со спокойствием беспристрастного разума; мы могли, мы должны были воспользоваться поучением, которое в нем заключалось; мы ничего этого не сделали.

Катастрофа произошла у нашего порога и ничему нас не научила, и немедленно вслед за тем мы сами отправились к их очагам в поисках за рожденными ею идеями и за созданными ею ценностями. И заметьте, что тот день, когда мы предприняли это паломничество в святые места иноземной цивилизации в лице изумительного человека [188 – ...в лице изумительного человека... – Петра I.], который представлял тогда сердце и душу народа подобно тому, как человек, являющийся сейчас носителем его звания, их ныне представляет, день этот наступил непосредственно после того, в который завершилось полное развитие нашей религиозной идеи, ибо это произошло на другой день после учреждения патриаршества.

По милости небес мы принесли с собой лишь кое-какую внешность этой негодной цивилизации, одни только ничтожные произведения этой пагубной науки: самая цивилизация, наука в целом остались нам чужды. Но все же мы достаточно познакомились со странами Европы, чтобы иметь возможность судить о глубоком различии между природой их общества и природой того, в котором мы живем. Размышляя об этом различии, мы должны были естественно возыметь высокое представление (*une haute opinion*) о наших собственных учреждениях, еще глубже к ним привязаться, убедиться в их превосходстве, равно как и в могуществе тех начал, на которых покоится наш социальный строй; мы должны были отыскать в наших традициях, в наших нравах, в наших верованиях, в выражении нашей внутренней жизни, в выражении нашей жизни общественной, даже и в наших предрассудках, словом, во всем, что составляет наше национальное бытие, все необходимые условия превосходного развития, все источники бесконечного усовершенствования, все зародыши необъятного будущего; этого не произошло. Совсем напротив, с того часа, как мы оказались в соприкосновении с иноземными идеями, мы поспешили отказаться от наших старинных туземных идей, мы сразу изменили нашим старинным обычаям, мы забыли наши почтенные традиции, мы преспокойно претерпели ниспровержение одного за другим наших вековых учреждений: мы почти целиком отреклись от всего нашего прошлого, мы сохранили одни только наши религиозные верования. Правда, эти верования, составляющие самое сокровенное нашего социального бытия, были достаточны, дабы оградить нас от нашествия самых негодных принципов иноземной цивилизации, против дыхания самых зловредных ее истечений, но они были бессильны развить в нас сознание той роли, которую мы были призваны выполнить среди народов земли.

И вот, подчинившись игу этой цивилизации, мы все же сохранили доблести наших отцов, их дух покорности, их привязанность к государю, их пристрастие к самоотвержению и самоотречению, но в то же время идея, заложенная в нашей душе рукой провидения, в ней не созрела. Совершенно не сознавая этой великой идеи, мы изо дня в день все более поддавались новым влияниям, и, когда наступил новый катаклизм, вторично потрясший мир, мы им не воспользовались, мы еще раз не сумели обнаружить преимущества социального существования, которыми мы имели счастье обладать, и теми преимуществами, которые провидение нам даровало во внимание к чистоте наших верований, к глубокой вере, преисполнявшей наши сердца. Удивительное дело: чем больше развертывавшиеся перед нашими глазами события, так сказать, разъясняли социальную задачу мира и раскрывали перед нами высокие предназначения, для нас уготованные, тем менее мы их понимали. Очевидно, все эти революции, при которых мы присутствовали в течение полустолетия, не только не уяснили нам состояния стран, в которых они происходили, равно как и состояния нашей собственной страны, а лишь еще затемнили наше сознание. И если в настоящее время некоторое пробуждение национального начала, некоторый возврат к старым традициям, которые составляли счастье наших отцов и были источником их доблестей, обнаруживаются среди нас более или менее явственно, приходится сознаться, что это явление лишь назревает и что оно в настоящее время носит лишь характер исторического изыскания, литературного течения, совершенно неведомого стране.

1849

А. С. Хомякову[189 – Послание Хомякову написано по-русски.]

Басманная, 26 сентября

Посылаю вам, dear sir[190 – ...dear sir... – дорогой сэръ (англ.)], тетрадь, полученную мною от неизвестного лица для отослания к вам. Вам, думаю, не трудно будет угадать приветное перо, так удачно высказавшее ваши собственные сочувствия. Не знаю, почему сочинитель избрал меня проводником своих задушевных излияний, но благодарю его за то, что считает меня вашим добрым приятелем. Разумеется, приписка и письмо одного мастера. Из этой приписки вижу, что он предполагает меня разделяющим его мысли, и в этом он не ошибся. Не менее его гнушаюсь тем, что делается в так называемой Европе; не менее его убежден, что будущее принадлежит молодецкому племени, которого он заслуженный, достойный представитель, которого отличительная черта благородство без хвастовства в победе, черта, столь явно выразившаяся в настоящую минуту. В одном только не могу с ним согласиться, а именно что нам не нужно заниматься Европой, что нам должно оставить о ней попечение. Я полагаю, напротив того, что попечение наше о ней теперь необходимо, что нам очень нужно ей теперь заняться. Так, вероятно, думал и тот, который увенчал нас новой, славной победой. Не знаю, как сочинитель письма не заметил, что если б мы не занимались Европой, то нас бы не было в Венгрии, то мятеж не был бы укрощен, то Венгрия не была бы у ног русского царя, великодушный Бан находился бы теперь в очень неприятном положении, общая наша приятельница была бы в глубоком горе, и, наконец, мы не имели б случая обнаружить своего в торжестве смирения[191 – Речь идет о подавлении венгерской революции русскими войсками летом 1849 г.]. В том совершенно согласен с вашим почтенным сочувственником, что Европа нам завидует, и уверен, что если б лучше нас знала, если б видела, как благоденствуем у себя дома, то еще пуще стала бы завидовать, но из этого не следует, чтоб нам должно было оставить о ней попечение. Вражда ее не должна нас лишать нашего высокого призвания спасти порядок, возвратить народам покой, научить их повиноваться властям так, как мы сами им повинемся, одним словом, внести в мир, преданный безначалию, наше спасительное начало. Я уверен, что в этом случае вы совершенно разделяете мое мнение и не захотите, чтоб Россия отказалась от своего назначения, указанного ей и царем небесным, и царем земным: я даже думаю, что в настоящее время вы бы не стали звать одну милость господню на западный край, а пожелали б нашим союзным братьям еще и иных благ.

Не знаю почему, заключаю, чувствую непреодолимую потребность выписать следующие строки из последнего слова нашего митрополита:

«Возвышение путей наших в очах наших есть уклонение от пути божия, хотя бы мы на нем и находились».[192 – Чаадаев приводит слова московского митрополита Филарета из проповеди в Успенском соборе в августе 1849 г.]

Сердечно вам преданный и пр.

1850

Кн<язю> В. Ф. Одоевскому

Басманная, 5 января

Вот, дорогой князь, письмо к вашему другу Вигелю, которое я попрошу вас приказать переслать ему как можно скорее. Эта милейшая особа написала мне[193 – Письмо известного мемуариста Ф.Ф. Вигеля, содержание которого дальше раскрывает Чаадаев, проникнуто язвительной иронией, идущей от их взаимной неприязни еще со времени совместного пребывания в середине 10-х гг. в масонской ложе «Соединенных друзей». После публикации первого философического письма Вигель, бывший в ту пору директором департамента

Чаадаев П. письма filosoff.org

иностранных исповеданий, призывал петербургского митрополита Серафима указать правительству средства «к обузданию толиких дерзостей». В 40-х гг. Вигель часто бывал и жил в Москве, и самолюбие невольно заставляло его видеть в Чаадаеве своеобразного соперника, которого он величал «плешивым лжепророком» и над ученостью которого постоянно насмехался. «Но всего любопытнее, – замечал в своих неопубликованных воспоминаниях известный литератор М.А. Дмитриев, – было видеть его (Вигеля. – Б.Т.) вместе с Чаадаевым... Оба они хотели первенства. Но Чаадаев не показывал явно своего притязания на главенство, а Вигель дулся и томился, боясь беспрестанно второго места в мнении общества; он страдал и не мог скрыть своего страдания».], не сообщив своего адреса, которого здесь никто не знает. Чтобы вы могли хорошенько понять, о чем идет дело между сказанным Вигелем и мною, необходимо было бы послать вам его письмо, чего я в настоящую минуту сделать не могу; но в двух словах – дело вот в чем. Какой-то глупый шутник вздумал послать ему на именины мой литографированный портрет, сопроводив его русскими стихами, авторство которых он приписывает мне.[194 – Чаадаев не подозревал, что «глупым шутником» был Тютчев, которому он поручил распространять в Петербурге литографии своего портрета. О судьбе одной из них сообщала в неопубликованном письме к Вяземскому жена поэта Э.Ф. Тютчева: «Хранить эти 10 картин было скучно. С другой стороны, кому их предложить? К счастью, я не знаю, кто из нас двоих вспомнил, что завтра день св. Филиппа. Знакомый нам Филипп жаждал поздравления. Тотчас же мы свернули одну из 10 литографий, сделали из нее красивый пакет и на внешней стороне мой муж написал: „Почтеннейшему именованнику Филиппу Филипповичу Вигелю:Прими как дар любви мое изображение, конечно, ты его оценишь и поймешь, –Припомни лишь при сем простое изречение:Не по-хорошу мил, а по-милу хорош“.»]

Таков мотив его письма, в слащавой и вместе с тем ядовитой путанице которого трудно разобраться. Равным образом невозможно ни понять смысл стихов, ни догадаться, кто их автор. Как бы то ни было, вы видите, что необходимо возможно скорее предотвратить возможные последствия недоброжелательного предположения этого господина, ибо стихи могут вызвать прескверное впечатление, и это – во многих отношениях. Если вам не известен его адрес, то я думаю, что вам могут сообщить его в доме Блудова. Я злоупотребляю вашей дружбой, дорогой князь, но думаю, что вы дали мне на это право. За дружбу можно расплатиться только дружбой. Если эти строки доставят мне удовольствие прочесть ваши, то я буду благодарен неизвестному, подавшему к тому повод. Пишу вам по-французски, ибо не имею времени писать вам на родном наречии, менее послушном моему перу или менее поддающемуся эпистолярному стилю, затрудняюсь сказать, что из двух. Что касается до вас, то вы имеете достаточно времени, чтобы написать мне на чистейшем русском языке: да, впрочем, если бы и не так, вы все равно на другом бы языке писать не стали.

Может быть, вы найдете какое-нибудь средство прочесть мое послание. В таком случае сообщите мне ваше мнение о нем; я был бы очень рад его знать.

Впрочем, вот что: я велю переписать письмо Вигеля, а также и мое, и вы найдете их оба в этом конверте.

Засвидетельствуйте мое глубокое почтение княгине, память о благосклонном участии которой я свято храню.

Я полагаю, что вы не сомневаетесь в моей неизменной и искренней преданности.

Петр Чаадаев.

Ф. Ф. Вигелю[195 – Послание Вигелю написано по-русски.]

М. Г. Филипп Филиппович.

Портрета своего я вам не посылал и стихов не пишу, но благодарен своему неизвестному приятелю, доставившему мне случай получить ваше милое письмо. Этот неизвестный приятель, сколько могу судить по словам вашим, выражает собственные мои чувства. Я всегда умел ценить прекрасные свойства души вашей, приятный ум ваш, многолюбивое ваше сердце. Теплую любовь к нашему славному отечеству я чтит всегда и во всех, но особенно в тех лицах,

Чаадаев П. письма filosoff.org

которых, как вас, общий голос называет достойными его сынами. Одним словом, я всегда думал, что вы составляете прекрасное исключение из числа тех самозванцев русского имени, которых притязание нас оскорбляет или смешит. Из этого можете заключить, что долг христианина, в отношении к вам, мне бы не трудно было исполнить. Сочинитель стихов, вероятно, это знал и передал вам мои мысли, не знаю, впрочем, с какой целью; но все-таки не могу присвоить себе, что вы пишете, тем более что о содержании стихов могу только догадываться из слов ваших. Что касается до желания одной почтенной дамы, о котором вы говорите, то с удовольствием бы его исполнил, если б знал ее имя.

В заключение не могу не выразить надежды, что русский склад этих строк, написанных родовым русским, вас не удивит и что вы пожелаете еще более сродниться с благородным русским племенем, чтобы и себе усвоить этот склад.

Прошу вас покорнейше принять уверение в глубоком моем почтении и совершенной моей преданности.

М. П. Погодину [196 - послание Погодину написано по-русски.]

Письмо моего незабвенного друга получил и очень рад, что вам им угодил [197 - Имеется в виду одно из писем Пушкина к Чаадаеву, которое последний давал для ознакомления Погодину.]. В мое с ним время умели писать по-французски и по-русски: не знаю, как нынче? Много чего есть у меня, что могло бы вам пригодиться для не-антикварских ваших трудов, но как-то общение у нас не ладится. Подождем железных дорог; может быть, тогда как-нибудь встретимся. Кстати или не кстати: прошлый раз позабыл вас поблагодарить за разбор павловской диссертации. [198 - Речь идет о рецензии Погодина в «Москвитяине» на диссертацию П.В. Павлова «Об историческом значении царствования Бориса Годунова».]

Вам душевно преданный

П. Чаадаев.

Пятница.

1851

В. А. Жуковскому [199 - послание Жуковскому написано по-русски.]

Басманная, 27 мая

Многие, может быть, подобно мне, не благодарили еще вас, любезнейший Василий Андреевич, за доставление последних трудов ваших, но немногие, думаю, имеют на то такое оправдание, какое я имею. Вы, вероятно, помните, что оставили меня, тому, кажется, десять лет назад, в доме, который тогда уже разрушался от ветхости и, по словам вашим, держался не столбами, а одним только духом. С тех пор продолжает он спокойно разрушаться и стращать меня и моих посетителей своим косым видом. Вот одно из тех смешных страданий глупой моей жизни, а их много, которые поневоле отвлекают меня иногда от исполнения приятнейших обязанностей; но все-таки винюсь перед вами, с тем, однако ж, чтоб выслушали меня о другом деле, которое пусть служит и выражением моей запоздалой благодарности.

На днях показывал мне Булгаков письмецо ваше о наших проделках с Фанни Елслер [200 - Чаадаев имеет в виду излишне восторженную реакцию москвичей на пребывание в древней столице танцовщицы Фанни Эльслер.]. Знаете ли, какое впечатление произвели на меня эти немногие строки? Они грустно напомнили мне о моих утратах; они напомнили мне, что уже никого нет более среди нас, который бы мог хоть посмеяться над нами с некоторым авторитетом, то есть с пользой. Иных не стало, другие за горами. Таким образом, пользуемся мы совершенною безнаказанностью, врем что ни попало, на словах и на бумаге, в приятельской беседе и пред публикою. Нельзя сказать, чтоб мы стали глупее прежнего, но нельзя, однако ж, сказать, чтоб мы стали и умнее. Само собою

разумеется, что многое узнали, о чем прежде и слуха не было, но что в том прока, если все это новознание или поражено бесплодием, или выражается на каком-то неслыханном наречии, наводящем тоску на читателя. Цензура не учитель, от нее ничему не научимся, а вкусу и подавно. Пора бы вам к нам приехать: вот к чему идет речь моя. Обещаете быть в сентябре месяце, но надолго ли, that is the question[201 – That is the question – вот в чем вопрос (англ.)]. Если приедете на нас только посмотреть да полюбоваться, то что в этом будет пользы! Нет, приезжайте с нами пожить да нас поучить. Зажились вы в чужой глуши; право, грех. Почему знать, может статься, бог и наградит вас за доброе дело и возвратит здоровье жене вашей на земле православной. Не поверите, как мы избаловались с тех пор, как живем без пестунов. Безначалие губит нас. Ни в печатном, ни в разговорном круге не остались налицо никого из той кучки людей почетных, которые недавно еще начальствовали в обществе и им руководили; а если кто и уцелел, то дряхлеет где-нибудь в одиночестве ума и сердца. Все нынче толкуют у нас про направление: не направление нам надобно, а правление. Грамотка без учителей не водится. Самодельных властей у нас развелось много, но лиц с настоящим значением в просвещенном слое общества пока еще не завелось. Разумеется, когда и было у нас начальство, то, к которому и вы принадлежали, то не всегда его слушались: так всегда водилось; но все-таки присутствие людей, всеми чтимых не только за дела ума, но и за свойства душевные, было полезно и научало новичков скромности. Слово это исчезло из нашего новейшего ручного словаря. Приезжайте хоть за тем, чтобы помочь нам отыскать его. Странное дело! Никогда не видано было менее у нас смирения, как с той поры, как стали у нас многоглагольствовать про тот устав христианский, который более всех прочих уставов христианских учит смирению, который весь не что иное, как смирение. Вот пример этому. Один из ревностных служителей возвратного движения написал в прошлом году драму[202 – Речь идет о драме К.С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году»]. Хороша ли, дурна ли, до того дела нет; драма написана во славу того быта, которого будто бы сокрушила своенравная воля великого человека[203 – ...своенравная воля великого человека... – Петра I.], созданного, впрочем, этим же самым бытом; это и довольно, по мнению наших приятелей, то есть сочувственников автора. Но вот ее дают на здешнем театре; и что ж! в день представления является в «Ведомостях» статья самого автора, который простоудушно указывает на рукоделье свое как на образец настоящей русской драмы. Заметьте, что никого это не изумило, что никто даже и не обратил на это внимания, так оно всем показалось естественным. И немудрено; как вы хотите, чтоб безусловное поклонение одной какой-либо мысли не привело нас к поклонению тому разуму, которому одолжена она своим бытием, хотя бы этот разум и был наш собственный разум или разум наших приятелей. Voilà o nous en sommes[204 – Voilà o nous en sommes – вот где мы находимся (франц.)]. Этот автор, впрочем, умный, милый и благородный человек; но надобно же заплатить дань своему времени. Ведь и у нас есть свое время, хотя и не такое беспутное, как ваше бусурманское время.

Не знаю, показывал ли Булгаков письмо ваше нашей графине[205 – ...нашей графине... – Е.П. Ростопчиной.]; кажется, он ей только выписал те строки, которые могли польстить ее авторскому самолюбию. Я взял было его у Булгакова, с тем чтоб показать ей все письмо по старой своей привычке любить друзей своих, не только для себя, но и для них, но не знал ее дома. Должно, однако ж, признаться, что акафист ее старой плясунье[206 – имеется в виду статья Ростопчиной, написанная в связи с отъездом упомянутой танцовщицы и начинавшаяся такими словами: «фанни!!.. Фанни Эльслер!!.. Очаровательная, восхитительная, невероятная, почти невозможная Фанни Эльслер!!! – вот что звучит, что отдается в каждом сердце, чем полны еще теперь умы, глаза, мечты, воспоминания всей Москвы... Фанни!.. И неужто в самом деле мы с нею простились?..»] всех порядочных людей возмутил и здесь, и в Петербурге. Я назвал всю эту дурь le culte du jarret[207 – Le culte du jarret – культ коленок (фр.)] и спрашивал Ростопчину, как это выражение перевести по-русски, но она не сумела.

На прощанье вторично повторяю свое челобитье о возвращении вашем на родину. Худо детям жить без дядьки. Из этого и взял перо, от которого, как можете видеть, немного поотстал, а то бы не был так многословен. Прошу принять мою болтовню снисходительно и не по-учительски. Обнимаю вас от всей души и ото всего сердца. Здесь есть ваши бумаги, но не успел еще их видеть, хотя они находятся у Красных ворот.

Прощайте. Всячески вам преданный Петр Чаадаев.

А. И. Герцену[208 – Герцен, послание которому написано по-русски, всегда с большим почтением относился к Чаадаеву, несмотря на существенные идейные разногласия между ними. Религиозно-историческая концепция автора философических писем не удовлетворяла философский «реализм» Герцена, отмечавшего в дневнике: «Спор с Чаадаевым о католицизме и современности: при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал...»]

Москва, 26 июля 1851

Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спасибо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно сожалея, что события мира разлучили нас с вами, может быть, навсегда. Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, так чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце. Всего бы, мне кажется, лучше было усвоить вам себе язык французский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при чтении хороших образцов ни на каком ином языке современные предметы так складно не выговариваются. Тяжело, однако ж, будет вам расстаться с родным словом, на котором вы так жизненно выражались. Как бы то ни было, я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот, а это главное дело. Стыдно бы было, чтоб в наше время русский человек стоял ниже Кошихина.

Благодарю вас за известные строки. Может быть, придется вам скоро сказать еще несколько слов об том же человеке, и вы, конечно, скажете, не общие места – а общие мысли. Этому человеку, кажется, суждено было быть примером не угнетения, против которого восстают люди, – а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо пагубнее первого. (Не примите этого за общее место.[209 – Слова в скобках переведены с французского языка.]) Может быть, дурно выразился.

Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидетелем дел человеческих; но, веруя искренно в мир загробный, уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с которою теперь смотрю. Простите.

Гр<афу> Л. Ф. Орлову[210 – Послание к А.Ф. Орлову, брату покойного друга Чаадаева М.Ф. Орлова, написано по-русски. Уже будучи после смерти Бенкендорфа начальником III Отделения, А.Ф. Орлов навещал Чаадаева как своего давнего знакомого.]

Граф Алексей Федорович.

Слышу, что в книге Герцена[211 – Речь идет об известной брошюре Герцена «О развитии революционных идей в России», где автор высказывает свое мнение о влиянии Чаадаева на умственное развитие русского общества. О выходе этой брошюры Чаадаев узнал впервые именно от А.Ф. Орлова, навестившего его, по обыкновению, при проезде через Москву и заметившего в разговоре с ним: «В книге из живых никто по имени не назван, кроме тебя... и Гоголя, потому, должно быть, что к вам обоим ничего прибавить и от вас обоих ничего убавить, видно, уж нельзя». Несмотря на короткие отношения с начальником III Отделения, разговор с ним, видимо, весьма озадачил Чаадаева, чем и вызвана выраженная далее его готовность опровергнуть мнение Герцена.] мне приписывают мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями. Хотя из слов вашего сиятельства и вижу, что в этой наглой клевете не видите особенной важности, однако не могу не опасаться, чтобы она не оставила в уме вашем некоторого впечатления. Глубоко благодарен бы был вашему сиятельству, если б вам угодно было доставить мне возможность ее опровергнуть и представить вам письменно это опровержение, а может быть, и опровержение всей книги. Для этого, разумеется, нужна мне самая книга, которой не могу иметь иначе как из рук ваших.

Каждый русский, каждый верноподданный царя, в котором весь мир видит богом призванного спасителя общественного порядка в Европе, должен гордиться быть орудием, хотя и ничтожным, его высокого священного призвания; как же остаться равнодушным, когда наглый беглец, гнусным образом искажая истину,

Чаадаев П. письма filosoff.org  
приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор?

Смею надеяться, ваше сиятельство, что благосклонно примете мою просьбу, и если не заблагорассудите ее исполнить, то сохраните мне ваше благорасположение.

Честь имею быть. .

1852

М. П. Погодину[212 – Послание Погодину написано по-русски.]

Сделайте одолжение, милостивый государь Михайло Петрович, скажите мне, где мне найти Г. Кокорева? Прочитав в «Москвитянине» его Саввушку[213 – Чаадаев высоко оценил повесть И.Т. Кокорева «Саввушка», где на судьбе портного показываются нравы и быт московской окраинной бедноты.], я сейчас решился отыскать его, но по сию пору не мог попасть на его след, хотя многие и сказывали мне, что знают его. Видно, эти господа не принадлежат ни к тому кругу, где он живет, ни к тому, где его умеют ценить. Что касается до меня, то вижу в нем необыкновенно даровитого человека, которому нужно только стать повыше, чтоб видеть побольше. Я не люблю дагерротипных изображений ни в искусстве, ни в литературе, но здесь верность истинно художественная, что нужды, что фламандская. Нынче, знаю, иного требуют от писателя,

«Но мне, какое дело мне,  
Я верен буду старине».

Тот, кто написал эти строки в заключение других, мною ему внушенных, конечно, и в этом случае разделит бы мое мнение.[214 – Имеется в виду Пушкин.]

В ожидании милостивого вашего уведомления прошу вас принять повторение моей давнишней преданности.

Петр Чаадаев.

Извините, что забыл поздравить вас с тем, что вам наконец удалось передать в вечное потомственное владение науки ваше драгоценное собрание.

1854

С. П. Шевыреву[215 – Послание Шевыреву написано по-русски.]

Я на днях заходил к вам, почтеннейший Степан Петрович, чтоб поговорить с вами о Бартеневских статьях, помещенных в «Моск. ведомостях»[216 – В 1854 г. в «Московских ведомостях» стали периодически появляться статьи П.И. Бартенева о Пушкине, дружбой с которым Чаадаев к концу жизни все более гордился, относя ее к лучшим годам жизни, охотно показывал гостям пятно в своем кабинете, оставленное головой прислонявшегося к стене поэта, часто цитировал им строки из стихотворных посланий к себе. Отсутствие упоминания о нем в описании лицейских лет и молодости писателя вызвало раздраженное удивление Чаадаева, выраженное в настоящем послании к Шевыреву как к представителю пушкинского поколения. В связи с бартеневскими статьями Чаадаев передал послания поэта к нему другому представителю этого поколения, И.В. Киреевскому, который, возвращая стихи, заметил, что «невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к вам». Вместе с тем Киреевский упрекал своего старого идейного приятеля-противника в том, что тот сам до сих пор не оставил никаких воспоминаний о поэте. Несмотря на неточности, писал он Чаадаеву, надо быть благодарным автору статей в «Московских ведомостях» за рассказ о жизни писателя, ибо он мог и совсем не говорить о ней: «На нем не было той обязанности спасти жизнь Пушкина от забвения, какая лежит на его друзьях. И чем больше он любил их,

тем принудительнее эта обязанность. Потому надеюсь, что статья Бартенева будет введением к вашей, которую ожидаю с большим нетерпением». Точно так же и Шевырев, извиняя Бартечева, который собирался говорить о Чаадаеве в последующих номерах газеты, призывал последнего передать самому всю историю его отношений с поэтом: «Вы даже обязаны это сделать, и биограф Пушкина не виноват, что вы этого не сделали, а виноваты вы же сами. Как таить такие сокровища в своей памяти и не дать об них отчета современникам?» Но то ли принудительность обязанности была не так уж сильна, то ли нечто такое, что составляло одну из многочисленных загадок существования Чаадаева, препятствовало – во всяком случае, отзвываясь на просьбы и Киреевского, и Шевырева, он тем не менее так и не оставил потомкам своих воспоминаний о «незабвенном друге».]. Вы, конечно, заметили, что, описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и вписывает несколько стихов из его ко мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство, в угодность к своим взглядам, хранит предания о нем! Пушкин гордился моею дружбою; он говорит, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а Г. Бартечев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материалы. Надеюсь, однако ж, что будущие биографы поэта заглянут и в его стихотворения.

Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было, когда каждая разумная и бескорыстная мысль чтилась выше самого беспредельного поклонения прошедшему и будущему. Я уверен, что настанет время, когда и у нас всему и каждому воздастся должное, но нельзя же между тем видеть равнодушно, как современники бесчестно прячут правду от потомков. Никому, кажется, нельзя лучше вас, в этом случае, заступиться за истину и за минувшее поколение, которого теплоту и бескорыстие сохраняете в душе своей; но если думаете, что мне самому должно взяться за покинутое перо, то последую вашему совету (хотя и с риском дать Бартечеву новый довод в пользу того, что не следует придавать особой важности дружескому расположению ко мне Пушкина)[217 – Слова в скобках переведены с французского языка.]. В среду постараюсь зайти к вам из клуба[218 – Подразумевается Английский клуб.], за советом.

Искренно и душевно

преданный вам

Петр Чаадаев.

Написав эти строки, узнал, что Г. Б. оправдывает себя тем, что, говоря о лицейских годах друга моего, он не полагал нужным говорить о его отношениях со мною, предоставляя себе упомянуть обо мне в последующих статьях. Но неужто Г. Б. думает, что встреча Пушкина, в то время когда его могучие силы только что стали развиваться, с человеком, которого впоследствии он назвал лучшим своим другом, не имела никакого влияния на это развитие? Если не ошибаюсь, то первое условие биографа есть знание человеческого сердца.

Выписка из письма неизвестного к неизвестной. 1854[219 – Так озаглавлен самим Чаадаевым отрывок в эпистолярной форме, сохранившийся среди бумаг Е.Н. Орловой (вдовы М.Ф. Орлова).]

Нет, тысячу раз нет – не так мы в молодости любили нашу родину. Мы хотели ее благоденствия, мы желали ей хороших учреждений и подчас осмеливались даже желать ей, если возможно, несколько больше свободы; мы знали, что она велика и могущественна и богата надеждами; но мы не считали ее ни самой могущественной, ни самой счастливой страной в мире. Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия олицетворяла собою некий отвлеченный принцип, заключающий в себе конечное решение социального вопроса, – чтобы она сама по себе составляла какой-то особый мир, являющийся прямым и законным наследником славной восточной империи, равно как и всех ее прав и

достоинств, – чтобы на ней лежала нарочитая миссия вобрать в себя все славянские народности и этим путем совершить обновление рода человеческого; в особенности же мы не думали, что Европа готова снова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию посредством крупниц этой самой цивилизации, которые недавно вывели нас самих из нашего векового оцепенения. Мы относились к Европе вежливо, даже почтительно, так как мы знали, что она выучила нас многому, и между прочим – нашей собственной истории. Когда нам случалось нечаянно одерживать над нею верх, как это было с Петром Великим, – мы говорили: этой победой мы обязаны вам, господа. Результат был тот, что в один прекрасный день мы вступили в Париж, и нам оказали известный вам прием, забыв на минуту, что мы, в сущности, – не более как молодые выскочки и что мы еще не внесли никакой лепты в общую сокровищницу народов, будь то хотя бы какая-нибудь крохотная солнечная система, по примеру подвластных нам поляков, или какая-нибудь плохонькая алгебра, по примеру этих нехристей-арабов, с нелепой и варварской религией которых мы боремся теперь. К нам отнеслись хорошо, потому что мы держали себя как благовоспитанные люди, потому что мы были учтивы и скромны, как приличествует новичкам, не имеющим других прав на общее уважение, кроме стройного стана. Вы повели все это по-иному, – и пусть; но дайте мне любить мое отечество по образцу Петра Великого, Екатерины и Александра. Я верю, недалеко то время, когда, может быть, признают, что этот патриотизм не хуже всякого другого.

Заметьте, что всякое правительство, безотносительно к его частным тенденциям, инстинктивно ощущает свою природу, как сила одушевленная и сознательная, предназначенная жить и действовать; так, например, оно чувствует или не чувствует за собою поддержку своих подданных. И вот, русское правительство чувствовало себя на этот раз в полнейшем согласии с общим желанием страны; этим в большой мере объясняется роковая опрометчивость его политики в настоящем кризисе [220 – Имеется в виду обострившийся из-за происка французских дипломатов спор между православным и католическим духовенством о «святых местах» в Палестине, для разрешения которого русское правительство требовало от султана восстановления привилегий православной церкви в Палестине и подписи конвенции о покровительстве Николаем I всех православных в подданстве турецкого главы. Английское правительство подсказывало султану такое половинчатое решение вопроса, при котором не исключалась возможность разжечь русско-турецкую войну, превратить ее потом под лозунгом «защиты Турции» в коалиционную и подорвать позиции России на Ближнем Востоке и Балканах.]. Кто не знает, что мнимо национальная реакция дошла у наших новых учителей до степени настоящей моноomanии? Теперь уже дело шло не о благоденствии страны, как раньше, не о цивилизации, не о прогрессе в каком-либо отношении; довольно было быть русским; одно это звание вмещало в себе все возможные блага, не исключая и спасения души. В глубине нашей богатой природы они открыли всевозможные чудесные свойства, неведомые остальному миру; они отвергали все серьезные и плодотворные идеи, которые сообщила нам Европа; они хотели водворить на русской почве совершенно новый моральный строй, который отбрасывал нас на какой-то фантастический христианский Восток, придуманный единственно для нашего употребления, нимало не догадываясь, что, обособляясь от европейских народов морально, мы тем самым обособляемся от них и политически, что, раз будет порвана наша братская связь с великой семьей европейской, ни один из этих народов не протянет нам руки в час опасности. Наконец, храбрейшие из adeptов новой национальной школы не задумались приветствовать войну, в которую мы вовлечены, видя в ней осуществление своих ретроспективных утопий, начало нашего возвращения к хранительному строю, отвергнутому нашими предками в лице Петра Великого. Правительство было слишком невежественно и легкомысленно, чтобы оценить, или даже только понять, эти ученые галлюцинации. Оно не поощряло их, я знаю; иногда даже оно наудачу давало грубый пинок ногою наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма; тем не менее оно было убеждено, что, как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму. [221 – Речь идет о высадке французских войск в Крыму и о поражении русской армии на реке Альме в сентябре 1854 г. в Крымской войне (ее угроза стала реальной после разрыва в мае 1853 г. русско-турецких отношений) между Россией и коалицией Турции,

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Англии, Франции и Сардинии. В результате войны в марте 1856 г. между воюющими сторонами был заключен мир на невыгодных для России условиях. По утверждению А.И. Дельвига, «было мало людей», на которых неудачи Крымской войны действовали бы так сильно, как на Чаадаева. «События последних трех лет, – замечал мемуарист Д.Н. Свербеев, – тяготели над ним тяжким бременем. Ему, воину славной брани, поднятой за свободу отечества и освободившей Европу, – ему горьки были и начало и конец нашей последней войны.»]

#### Комментарии

Из эпистолярного наследия Чаадаева отобраны для настоящего издания наиболее интересные в историко-культурном, литературном, философском отношении материалы начиная с 1829 г., то есть с периода окончательного формирования его мировоззрения и создания философических писем. Подборки посланий Чаадаева печатались в журналах «Библиографические записки» (1861, № 1), «Русский архив» (1866, кн. 3; 1881, кн. 1), «Русский вестник» (1862, № 11), «Русская старина» (1882, № 2; 1903, №10), «Вестник Европы» (1871, №9, 11; 1874, № 7); в книгах: *Oeuvres choisies de Pierre Tschaadaief*. Paris – Leipzig, 1862; Гершензон М. П.Я. Чаадаев: Жизнь и мышление. СПб., 1908; Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 годов. М., 1908 – и в некоторых других изданиях.

Письма воспроизводятся по кн.: Чаадаев П. Я. Сочинения и письма: В 2-х т. М., 1913–1914. Другие источники публикаций указываются особо. Почти все приводимые послания Чаадаева являются переводом с французского, поэтому те случаи, когда они были написаны на русском языке, оговариваются специально.

#### Примечания

1

Вероятно, речь идет о французском переводе романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин»: *Boulgarin F. Ivan Wyjighine ou le Gilblas russe*. Paris, 1829 («Иван Выжигин, или Русский Жильблас»).

2

Французский писатель Виктор Жозеф Жуи был широко известен как автор книг «L'Hermitte de la Chaussée d'Antin» («Отшельник с улицы Дантен») и «Les Hermites en prison» («Отшельники в тюрьме»), изданных соответственно в 1812 и 1813 гг.

3

...моего приятеля Гульянова... – Чаадаев был дружен с дипломатом и ученым-египтологом Иваном Александровичем Гульяновым, помогавшим ему в затруднительных жизненных обстоятельствах конца 20-х начала 30-х гг. Возможно, не без помощи Чаадаева познакомился с этим ученым, занимавшимся дешифровкой иероглифов, и Пушкин, на одном из рисунков которого изображена египетская пирамида с надписью Гульянова: «Начертано поэтом Пушкиным во время разговора, который я имел с ним сегодня о моих трудах вообще и об иероглифических знаках в частности. Москва 13/25 декабря 1831».

4

...знаменитый Клапрот... – немецкий ориенталист.

5

Чаадаев П. письма filosoff.org

...книги, которую вам посылаю... – Скорее всего, речь идет о двухтомном сочинении французского писателя Фредерика Ансильона «Pensees sur l'homme, ses rapports et ses interets» (Berlin, 1829) («Размышления о человеке, его отношениях и интересах»), испещренном карандашными пометами отправителя и сохранившемся в библиотеке Пушкина. Чаадаеву, во многом разделявшему мысли автора, хотелось, чтобы Пушкина заинтересовали рассуждения Ансильона о «философической вере», о слиянии религии, поэзии и социальной истории, о необходимом совершенствовании человеческой природы. Чаадаев, рассчитывавший на мощь поэтического таланта Пушкина в распространении своей «одной мысли», стремился знакомить его не только с «идеями века», но и с собственными взглядами на проблемы художественного творчества, о чем свидетельствует запись на форзаце посылаемой книги: «Мозг поэта построен иначе, не в смысле образования идей, но в смысле их выражения. Ведь не мысль делает человека поэтом, а ее выражение. Поэтическое вдохновение – вдохновение словом, а не мыслью. Поэтический язык – сама поэзия. Разве есть поэты в прозе... Только французы, такой несомненно прозаический народ, могли вообразить, что во Франции есть поэты. Верно, что их поэты – прозаики, но не... что их произведения поэтичны. Говорят, образ, образ. Но образ – это материал поэзии, а не поэзия; если он не выражен поэтически, это просто геометрическая фигура и ничего более».

6

Уезжая из Москвы в середине мая 1831 г., Пушкин взял с собою часть философических писем (шестое и седьмое), чтобы напечатать их в Петербурге с помощью товарища министра народного просвещения Д.Н. Блудова и издателя Ф.М. Беллизара. Однако сделать это не удалось.

7

Английский клуб. – Его открытие в последней четверти XVIII в. явилось одним из подражательных заимствований европейских форм социального быта в послепетровскую эпоху. Хотя в уставе, согласно которому число членов клуба первоначально ограничивалось четырьмястами, а впоследствии увеличилось до шестисот, не оговаривались никакие сословные ограничения, он состоял из представителей родовой или чиновной знати, а также людей со средствами и положением в образованном обществе. Здесь имелись богатая библиотека, журнальные и газетные комнаты, бильярдные, столовые, где члены клуба отдыхали, играли в карты, обсуждали политические новости. Еще Н.М. Карамзин в «Записке о достопримечательностях Москвы» отмечал значение клуба как барометра социальных убеждений: «Надобно ехать в Английский клуб, чтобы узнать общественное мнение, как судят москвичи. У них есть какие-то неизвестные правила, но все в пользу самодержавия: якобинца выгнали бы из Английского клуба». По свидетельству П.И. Бартенева, сам Николай I «иной раз справлялся, что говорят о той или другой правительственной мере в Московском Английском клубе».

8

Ввиду постигшего нас великого бедствия... – речь идет об эпидемии холеры.

9

Также имеется в виду эпидемия холеры.

10

Пушкин несколько раз пытался вернуть рукопись автору, но посылку не принимали на почте из-за холерной эпидемии. Возможно, ему удалось ее отправить в конце августа или в сентябре.

11

...время... не многого стоившее... – период увлечения либеральными идеями в конце 10-х – начале 20-х гг.

12

...великого поэта... – вероятно, Жуковского.

13

«Рамаяна» – древнеиндийская эпическая поэма, созданная около IV в. до н. э. В окончательном виде, дополненная и частично модифицированная в традиции певцов-сказителей, сложилась ко II в.

14

...вдруг нагрянула глупость человека – французского короля Карла X, политика которого послужила одной из причин Июльской революции 1830 года.

15

Религия в учении французского утописта-социалиста Сен-Симона становилась инструментом в поступательном развитии общественного прогресса.

16

Имеется в виду религиозное течение, возглавляемое в начале 30-х гг. XIX в. Ламенне, в котором традиционное католичество соединилось с идеями всеобщего равенства.

17

В сентябре 1831 г. Пушкин писал П.В. Нащокину, что царь позволил ему «рыться в архивах для составления истории Петра I».

18

«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».

19

Подлинник оборван.

20

Чаадаев познакомился с Шеллингом в августе 1825 г. в Карлсбаде и вместе с А. И. Тургеневым и Тютчевым оказался в числе первых представителей русской культуры, с которых началось и через которых осуществлялось более тесное общение немецкого философа с поклонниками из России. В конце 20-х – начале 30-х гг. в Мюнхене, а позднее в Берлине Шеллинга посетят братья Киреевские,  
Страница 75

М.П. Погодин, С.П. Шевырев, Н.А. Рожалин, В.П. Титов, Н.А. Мельгунов, В.Ф. Одоевский, А.С. Хомяков. Среди особо заинтересовавших его почитателей он назовет и Чаадаева, считая его одним из наиболее прекрасных людей, когда-либо встреченных им в жизни. И хотя после карлсбадских встреч они более не виделись, Чаадаев произвел сильное впечатление на Шеллинга сходным умонастроением. Чаадаев же с заинтересованным сочувствием следил за эволюцией мысли Шеллинга от «философии тождества» к «философии мифологии и откровения», или «положительной философии», призванной соединить веру и знание, познать самораскрытие бога через «мировые эпохи» исторического процесса.

21

Неоднократно и подолгу путешествуя по Европе, А.И. Тургенев имел широкие знакомства в политических, научных, литературных кругах и посылал в Россию многокрасочные путевые заметки, которые печатались в «Московском телеграфе», «Современнике», «Москвитянине». По воспоминаниям Вяземского, он состоял в переписке с братьями и друзьями, с духовными лицами всех возможных исповеданий, с дамами всех возрастов, короче говоря, «со всею Россией, Францией, Германией, Англией и другими государствами...».

Одним из самых постоянных и значительных корреспондентов Тургенева был Чаадаев, который особенно сблизился со старым университетским товарищем в начале 30-х гг. Тургенев делал для «московского философа», как он называл Чаадаева, разнообразные выписки из нашумевших на Западе книг и статей, присылал и привозил ему из-за границы новейшие сочинения по различным отраслям знания, знакомил европейские салоны с его философическими письмами.

22

Речь идет о послании к Шеллингу, которое Чаадаев, видимо, переделывал и переслал его Тургеневу лишь весной 1833 г.

23

Мария Бравура – московская красавица, итальянка по происхождению, знакомство с которой поддерживали П.А. Вяземский, М.Ф. Орлов, А.И. Тургенев, М.И. Глинка, И.С. Гагарин и другие известные современники Чаадаева. Последний, судя по ее неопубликованным письмам, знакомил Бравуру со своими идеями. «Ваши глубокие размышления о религии, – отвечала она ему, получив „желанные рукописи“, – были бы выше моего понимания, если бы я с детства не была напитана всем тем, что имеет отношение к католическому культу, который я исповедую, и всем, что ведет к Единству...»

24

Имеется в виду Шеллинг.

25

С будущим начальником III Отделения Чаадаев познакомился еще на полях Отечественной войны 1812 г., затем состоял вместе с ним в одной масонской ложе «Соединенных друзей», общался с Бенкендорфом по службе, будучи адъютантом командира гвардейского корпуса И.В. Васильчикова до выхода в отставку в феврале 1821 г. После возвращения из-за границы в 1826 г. Чаадаев встречался с начальником III Отделения при неустановленных обстоятельствах, а в 1833 г. обратился к нему в связи с желанием поступить на государственную службу. К службе его подвигали и финансовые затруднения, и повышавшийся авторитет в обществе, и стремление взять на себя роль одного из активных проводников «политики рода человеческого», о которой он

26

В поисках должности на государственной службе Чаадаев обратился за протекцией к И.В. Васильчикову. Последний сообщал ему, что люди, к которым он обращался, признают высокие качества и прежние заслуги Чаадаева, но затрудняются найти место, соответствующее его чину отставного ротмистра. Он извещал далее своего бывшего адъютанта, что Бенкендорф выразил готовность помочь ему и просил его написать подробнее о своих желаниях, что тот и сделал в настоящем письме.

27

О подготовке Чаадаева к дипломатической должности свидетельствует пристальное изучение им современных событий и расстановки политических сил в мире, исследование соответствующей литературы. «Мне кажется, – писал он до конца понятные лишь ему слова на полях книги Мартенса „Дипломатический путеводитель“, – что опасность действительно существует. И главным образом потому, что правительство станет на сторону народа... Боде может быть в Вюртенберге, нужно, прежде всего, сблизиться с Баварией... Миссия во все правительства Германии. – Система миссий. – Вспомните императора Александра. – Система жестоких репрессий будет иметь нежелательные результаты».

28

Речь идет об Александре I.

29

Это письмо, сопровождающее послание Николаю I, и следующие письма к Бенкендорфу, связанные с вопросами устройства на службу, написаны по-русски. Отвечая Чаадаеву на сопроводительное письмо, Бенкендорф замечал: «Получив письмо ваше от 15 минувшего июля и усматривая из оногo, что вы, в приложенном при сем письме вашем на высочайшее имя, упоминаете о несовершенстве образования нашего, я, имея в виду пользу вашу, не решился всеподданнейшего письма вашего представить государю императору, ибо его величество, конечно бы, изволил удивиться, найдя диссертацию о недостатках нашего образования там, где вероятно ожидал одного лишь изъявления благодарности и скромной готовности самому образоваться в делах, вам вовсе незнакомых. Одна лишь служба, и служба долговременная, дает нам право и возможность судить о делах государственных, и потому я боялся, чтобы его величество, прочитав ваше письмо, не получил о вас мнение, что вы, по примеру легкомысленных французов, принимаете на себя судить о предметах, вам неизвестных. В сем уважении я счел лучшим препроводить к вам обратно всеподданнейшее ваше письмо, которое при сем прилагаю, имея честь быть с совершенным почтением и преданностью вам покорнейший слуга граф Бенкендорф».

Настойчивое желание Чаадаева служить в министерстве просвещения не исполнилось, и переписка с Бенкендорфом прервалась. Известно только, что в конце 1833 г. царь соизволил определить его по министерству юстиции, но Чаадаев, желавший служить именно для русского просвещения, пренебрег этим предложением.

30

Речь идет о каком-то сочинении Чаадаева, которое Тургенев, видимо, собирался поместить в одном из французских журналов.

31

Чаадаев называл себя философом женщин не только потому, что его философические письма были обращены к даме. В прочитанных им книгах немало следов внимательного изучения женской физиологии и психологии, позволяющих раскрывать содержание такой самооценки. Например, в книге Бернардена де Сен-Пьера он отмечает для себя рассуждения о духовных особенностях «прекрасного пола», являющегося исключительно таковым лишь для «глазастых» людей. Для тех же, кто имеет еще и сердце, это и рождающий и кормящий пол, стойко переносящий тяготы подобного положения, набожный пол, несущий своих младенцев к алтарям и вдохновляющий в них религиозные чувства, мирный пол, держащий в своих руках иголку и нитку, а не ружье и шпагу, утешающий больных, а не проливающий кровь ближних. В природной женской пассивности и сердечной предрасположенности к самоотречению автор философических писем видел залог развития способности покоряться «верховой воле», чтобы лучше различать голос «высшего разума» и пропитаться «истинами откровения». Женское для Чаадаева является в известной степени антропологическим преломлением религиозного и послушным орудием провидения.

32

...том рассказов Павлова – «Три повести» Н.Ф. Павлова.

33

...прочтите первый рассказ. – Первая повесть называлась «Именины».

34

Речь идет о пятиактной драме Н.В. Кукольника «Князь М.В. Скопин-Шуйский».

35

Речь идет о журнале «Библиотека для чтения», в девятом томе которого была напечатана анонимная критическая статья «Германская философия» и «Отрывок письма из Швейцарии» В.А. Жуковского, озаглавленный «Две всемирные истории».

36

Revue de Paris – французский журнал, основанный в 1829 г., в котором напечатали свои произведения О. де Бальзак, А. Дюма, Э. Сю и другие известные писатели. В 1845 г. был закрыт в связи с финансовыми трудностями, а в 1851 г. стал выходить вновь.

37

France littéraire – литературно-общественный журнал католического направления, периодически выходивший с 1832 по 1843 г.

38

Сиркуры – речь идет о французском публицисте графе Адольфе де Сиркуре и его жене Анастасии Семеновне, урожденной Хлюстиной, в салоне которых собиралось избранное парижское общество.

39

welt-Getst – мировой дух (нем.).

40

Речь идет о втором томе «Салона» Гейне.

41

Имеется в виду комедия М.Н. Загоскина. «Вы, верно, слышали, – сообщал о ходивших по Москве слухах близкий к кругу Герцена Н.А. Мельгунов члену кружка Станкевича Я.М. Неверову в январе 1835 г., – что Загоскин пишет комедию „Недовольные“, для которой тему ему дал государь». Прототипами же действующих лиц служили П.Я. Чаадаев и М.Ф. Орлов. Главный герой, князь Радугин, находясь в отставке и тратя много денег на прихоти жизни, сердится, что правительство не замечает его талантов и не использует их должным образом. На его желание получить государственную должность министр отвечает отказом почти теми же словами, что и Бенкендорф Чаадаеву: для этого нужна «большая опытность, которая приобретается продолжительной и постоянной службою...». Сын князя Владимир, которым восхищаются ученые умы Германии и Франции, говорит и пишет на нескольких иностранных языках, но плохо знает русский и презирает все отечественное. В подобных штрихах легко проглядываются сатирически преувеличенные черты биографии Чаадаева. Заданность темы и нарочитое высмеивание, упрощающие реальную сложность характеров и нарушающие правдивость повествования, заведомо обрекали комедию Загоскина на неуспех. «Недовольные», – замечал Пушкин, – в самом деле скучная, тяжелая пьеса, писанная довольно легкими стихами. Лица, выведенные на сцену, не смешны и не естественны. Нет ни одного комического положения, а разговор пошлый и натянутый не заставляет забывать отсутствие действия».

42

Имеется в виду М.Ф. Орлов.

43

Journal des De&#769;bats – газета, основанная во Франции в 1789 г. для публикации отчетов Учредительного собрания.

44

...московский философ... – Чаадаев так называет самого себя.

45

См. прим. 6 к письмам 1835 года.

46

...построил целую философию на его симпатиях – согласно «симпатиям» французского философа Балланша, только «прогрессивный традиционализм», причудливо сочетающий в себе ультрамонтанство и свободолюбие, способен

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)

глобально и оптимистически обосновать социальную эволюцию, в которой полнота раскрытия человеческих способностей и станет конечным осуществлением религиозных начал: «Я надеюсь дать синтетическое изложение истории человечества. Я надеюсь показать историю общества от его темного зарождения и таинственной колыбели вплоть до высшего развития его силы и могущества... Осмелюсь сказать, что более широкий исторический синтез невозможен». Такие задачи французского философа глубоко впечатляли Чаадаева и совпадали с его собственными.

47

Евангелие от Иоанна, I, 10.

48

Вероятно, речь идет о брошюре французского католического публициста и философа Ф. Экштейна, в которой говорится о важности изучения индийских Вед.

49

Еще с университетской скамьи, а затем и в походах Отечественной войны 1812 г. Чаадаева и Якушкина связывала тесная дружба. В 1821 г. последний принял первого в распущенный «Союз благоденствия». Ссылный декабрист и автор философических писем, несмотря на пожизненную разлуку, иногда получали сведения друг о друге благодаря родственникам и знакомым, особенно же двоюродной сестре Якушкина Е.Г. Левашевой, в доме которой на Новой Басманной Чаадаев безвыездно жил с 1833 г. Сам Чаадаев в 1834 г. послал Якушкину небольшую картину с подписью художника Романелли, изображающую семейную группу, а ниже следующее письмо написал в 1836 г. Письмо это не дошло до адресата и сохранилось среди бумаг Чаадаева, арестованных у него в конце 1836 г. в связи с «телескопской» историей. Оно печатается по тексту публикации Д.И. Шаховского в книге «Декабристы и их время» (М., 1932, т. 2).

50

Имеется в виду трактат по электричеству и магнетизму французского физика Беккереля.

51

Речь идет о двоюродных сестрах Чаадаева Н.Д. Шаховской и Е.Д. Щербатовой.

52

Слова в треугольных скобках принадлежат публикатору,

53

Имеются в виду сотрудники журнала «Московский наблюдатель».

54

Речь идет об оттиске «телескопской» публикации, который Чаадаев послал С.С.

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Мещерской, распространявшей духовно-нравственные книги в народе.

55

Речь идет об обыске, произведенном у Чаадаева в связи с «телескопской» публикацией в конце октября 1836 г.

56

Скорее всего, речь идет о книге немецкого философа Д. Штрауса «Жизнь Иисуса», в которой автор, исходя из учения Гегеля, критиковал ортодоксальное христианство и рассматривал евангельские предания лишь как памятники литературного творчества. «Во время появления и громкой знаменитости всем известной книги Штрауса, – замечает с известным преувеличением М.И. Жихарев, – весьма образованные и очень неглупые люди различных верований и убеждений говорили, что в России только один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение».

57

Видимо, предвидя репрессивные меры по отношению к автору напечатанного в «Телескопе» философического письма, А.И. Тургенев заранее забрал у него свои послания.

58

Имеется в виду изданная в 1833 г. книга И.И. Ястребцова «О системе наук, приличных в наше время детям, назначаемым к образованнейшему классу общества», в которой автор ссылался на Чаадаева как на источник своих основных мыслей.

59

Подразумевается замысел «Апологии сумасшедшего».

60

Вероятно, у Чаадаева при обыске нашли сочувственный отзыв на «телескопскую» публикацию А.К. Мейендорфа, бывшего офицера и давнего его приятеля, что и навлекло на него какие-то неприятности.

61

Речь идет о «Капитанской дочке».

62

Имеется в виду И.И. Дмитриев.

63

Безумный – так Чаадаев подписывался некоторое время после официального наказания за напечатание первого философического письма.

64

Написанное по-русски послание к московскому обер-полицмейстеру Цынскому связано с различными неприятностями Чаадаева после публикации первого философического письма. Среди слухов, усугублявших его подавленное состояние, выделялись двусмысленные разговоры о «даме» и ее взаимоотношениях с автором публикации. В конце 1836 г. московское губернское правление освидетельствовало умственные способности Е.Д. Пановой по настоятельной просьбе мужа, пожелавшего поместить ее в лечебное заведение для душевнобольных. Когда до Чаадаева дошли отклики об ответах Пановой на предложенные ей вопросы, он через пристава испросил разрешение явиться к московскому обер-полицмейстеру, которому сделал письменно следующее заявление: "...коллежская секретарша Панова вс время свидетельствования ее губернским правлением в умственных способностях рассказывала в присутствии, что она республиканка и что во время войны в 1831 году она молилась за поляков, и тому подобные вздоры говорила», а потому он опасается, чтобы «по прежним его с Пановой связям правительство не заключило, что он причиною внушения ей подобного рода мыслей, так как философические письма, напечатанные в „Телескопе“, были писаны к ней». Не удовлетворившись таким заявлением, Чаадаев отправил Цынскому нижеследующее послание с более пространными объяснениями, что же касается Пановой, то ее поместили на время в сумасшедший дом. Следы же дальнейшего ее жизненного пути теряются. Но кое-что известно из последних, не менее драматических лет жизни адресата философических писем. Внук А. Д. Улыбышева Н. Вильде рассказывал, что, проводя лето в нижегородском родовом имении умершего деда, с любопытством и страхом проходил мимо ветхой избы, где жила старая безногая женщина, которую бабушка презрительно и насмешливо называла «философкой», а то и просто сумасшедшей. «Философка» (а ею оказалась Е.Д. Панова) много лет находилась в разладе с братом, смертельно враждовала с его женой, а вот теперь приехала к ней в простой телеге, без копейки денег, имея при себе лишь костыли, и чуть ли не на коленях умоляла о помощи и пристанище. Судя по всему, она не долго прожила в старом домике, куда ей носили обед с барского стола. «Где она умерла? – вопрошает Вильде. – В больнице для умалишенных, или в каком-нибудь нищем доме, или из милости у чужих людей? Где ее могила?»

65

Написанное по-русски послание к брату, безвыездно жившему с 1834 г. до конца жизни в нижегородском имении Хрипуново, является пристрастным (поскольку Чаадаев преуменьшает свою роль в напечатании первого философического письма) разъяснением «телескопской» истории.

66

Corpus delicti – состав преступления (лат.).

67

Ex officio – по обязанности (лат.).

68

...дружба моих милых хозяев – Левашевых.

69

Речь идет об известном письме Жуковского к С.Л. Пушкину, где рассказывается

о кончине поэта.

70

Возможно, речь идет о послании, черновик которого с датой 2 мая 1836 г. сохранился в архиве Чаадаева (см. прим. 1 к письмам 1836 г.).

71

Имеется в виду теща Якушкина Н.Н. Шереметева.

72

Подразумевается уже упоминавшаяся в послании 1836 г. к С.Г. Строганову книга И.И. Ястребцова.

73

Чаадаев намекает на перлюстрацию письма и его задержку в III Отделении.

74

...твоя двоюродная сестра... – Е.Г. Левашева.

75

Это послание к А.И. Тургеневу написано по-русски.

76

Чаадаев цитирует одно из своих положений в первом философическом письме.

77

Евангелие от Иоанна, XVII, 3. Чаадаев передает евангельские слова в измененном виде.

78

С бывшим боевым генералом и опальным декабристом М.Ф. Орловым Чаадаев особенно сблизился в 30-е гг., когда они часто не только бывали друг у друга, но и встречались на салонных собраниях, балах, в Английском клубе. «Московские львы», как их называл Герцен, привлекали к себе всеобщее внимание.

79

(Одно слово вырвано).

80

Имеется в виду Е.А. Свербеева, приятельница Чаадаева и Тургенева.

81

Слова в скобках переведены с французского языка.

82

Слова в скобках переведены с немецкого языка.

83

Труды французского философа оказали большое влияние на Чаадаева, которого А.И. Тургенев называл «московским Ламенне». Автора философических писем привлекало стремление Ламенне искать ответы на вопросы о происхождении, долге и судьбе человека не в собственном единичном сознании, а в лоне магистральных традиций, восходящих к началу всех времен. Чаадаев обнаруживал сходные устремления и в попытках найти точки соприкосновения и связи между христианством и новейшими проявлениями социально-культурной жизни, установить прочный союз религии и разума. Однако, как видно из нижеследующих строк, некоторые демократические положения философии Ламенне вызывали у него несогласие.

84

Слова в скобках переведены с латинского языка.

85

Слова в скобках переведены с французского языка.

86

Слова в скобках переведены с французского языка.

87

Имеется в виду статья Вяземского о пожаре Зимнего дворца 17 декабря 1837 г., напечатанная в начале 1838 г. в «Cazette de France», а затем вышедшая в Париже отдельной брошюрой.

88

Слова в скобках переведены с французского языка.

89

Я говорю о прозе, поэт везде необыкновенный человек.

90

Слова в скобках переведены с латинского языка.

91

Слова в скобках переведены с французского языка.

92

Подразумеваются протестантские идеи и реформы.

93

...оспаривать мнения человека... – вероятно, А.И. Тургенева.

94

Послание к Жуковскому написано по-русски.

95

Имеется в виду неотправленное письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. с возражениями на ряд положений «телескопской» публикации.

96

М.М. Сонцев был женат на тетке Пушкина Елизавете Львовне.

97

Послание к Шевыреву написано по-русски. С Шевыревым, как и с другим профессором Московского университета – М.П. Погодиным, издававшими журнал «Москвитянин», Чаадаев, несмотря на идейные разногласия, находился в достаточно ровных дружеских отношениях и часто обсуждал с ними разные исторические и литературные вопросы. «Они люди добрые и честные, – писал он А.И. Тургеневу, пожелавшему сотрудничать в „Москвитянине“. – Шевырев особенно совершенно благородный человек. То же можно сказать о Погодине».

98

Речь идет о стихотворении Е.П. Ростопчиной «Вид Москвы».

99

Имеются в виду сотрудники журнала «Москвитянин».

100

Послание к А. И. Тургеневу написано по-русски.

101

Слова в скобках переведены с французского языка.

102

...заносчивая философия... – гегелевская система.

103

В написанном по-русски послании Шевыреву Чаадаев благодарит его за некролог М.Ф. Орлову, скончавшемуся 18 марта 1842 г., печатание которого не было разрешено. 20 марта 1842 г. А.И. Тургенев писал из Москвы Вяземскому: "...здесь, как слышно, боярин-цензор, не пропустив статьи Шевырева, назвал Михаила Орлова каторжным».

104

имеется в виду письмо, полученное Чаадаевым от Шеллинга в 1833 г.

105

Фридрих-Вильгельм IV, озабоченный усилением подчинения немецких мыслителей «высокомерию и фанатизму школы пустого понятия» и желавший уничтожить «драконово семя гегелевского пантеизма», пригласил Шеллинга на кафедру, ранее занимаемую Гегелем. Новый профессор начал читать лекции в Берлине осенью 1841 г. в обстановке повышенного интереса, когда, по рассказу очевидца, Фридриха Энгельса, в аудитории слышался смешанный гул немецкой, французской, английской, венгерской, польской, русской, новогреческой, турецкой речи. Среди задорной молодежи и важных сановников в числе слушателей находились выдающиеся деятели самого разного рода и духа: Серен Кьеркегор, Михаил Бакунин, Фердинанд Лассаль, Владимир Одоевский, Якоб Бурхард... Семестр закончился овациями и факельным шествием. Многочисленные отзвуки берлинских лекций доходили и до Чаадаева.

106

... спекулятивная философия... – гегелевская диалектика, которую западники (Бакунин, Белинский, Герцен) трактовали как «алгебру революции», а славянофилы (К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин) пытались одно время приложить к русской истории.

107

Здесь и далее речь идет о славянофильском движении.

108

Е.А. Свербеева, урожденная Щербатова, была дальней родственницей Чаадаева. В доме ее мужа, автора известных «Записок» Д.Н. Свербеева, собирались видные представители славянофильства и западничества. Это письмо Чаадаева к ней, как и другие два послания к Свербеевой 1844 и 1845 гг., печатаются по тексту публикации Н.В. Голицына в журнале «Вестник Европы» (1918, кн. 1–4).

109

Дата в скобках поставлена публикатором.

110

После смерти Е.Г. Левашевой в 1839 г. Чаадаев несколько раз оказывался перед чрезвычайно неприятной, но так и не осуществившейся необходимостью покинуть флигель на Новой Басманной.

111

Рождествено – имение двоюродной сестры Чаадаева Е.Д. Щербатовой в Серпуховском уезде Московской губернии.

112

...добрая тетушка – А.М. Щербатова.

113

Так Чаадаев называет имение тетки в деревне Алексеевское Дмитровского уезда Московской губернии.

114

Имеется в виду статья Хомякова «О сельских условиях», напечатанная в 1842 г. в шестом номере журнала «Москвитянин», в которой рассматривались возможные условия сделок между землевладельцами и крестьянами на основе сельской общины как исконном явлении русской народной жизни.

115

Чаадаев имеет в виду загробный мир.

116

А.И. Тургенев.

117

Н.Д. Шаховская.

118

Е.Д. Щербатова.

119

Написанное по-русски послание к Шевыреву проникнуто тем же настроением, что  
Страница 87

Чаадаев П. письма filosoff.org  
и начало предыдущего письма.

120

Это письмо к А.И. Тургеневу, первые строки которого говорят о какой-то ссоре между ним и Чаадаевым, не было отправлено. Вторая часть письма интересна как свидетельство неоднозначных изменений во взглядах автора философических писем. Печатается по тексту публикации Л.Н. Черткова в журнале «Русская литература» (1969, № 3).

121

Имеется в виду Е.А. Свербеева.

122

Речь идет о князе А.Н. Голицыне, под начальством которого Тургенев служил в министерстве иностранных дел и который в 1843 г. вышел в отставку. Вслед за Голицыным получил отставку и Тургенев.

123

Имеется в виду деятельность Тургенева в пользу заключенных, которым он самоотверженно помогал под руководством известного московского врача Ф.П. Гааза.

124

Подразумевается смерть в августе 1843 г. подруги Свербеевой Е.А. Зубовой.

125

Чаадаев имеет в виду висевший у него в кабинете портрет А.И. Тургенева, выполненный К.П. Брюлловым.

126

Имеется в виду упоминавшаяся в письме к Е.А. Свербеевой статья Хомякова «О сельских условиях».

127

Подразумевается Смутное время 1605–1613 гг.

128

Здесь текст письма обрывается.

129

Речь идет о предыдущем неотправленном письме.

130

Имеется в виду Е.Д. Щербатова, которая в это время находилась за границей.

131

Речь идет о вышедшей в 1843 г. в Париже брошюре русского дипломата и поэта К.К. Лабенского, посвященной критике нашумевшей книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году». Кюстин, замечал автор, привез с собой Россию в портфеле и подогнал свои отрывочные впечатления под заранее выработанный критерий оценки всего происходящего на его глазах.

132

...милой Лизе... – Е.Д. Щербатовой.

133

Имеется в виду Е.А. Зубова.

134

С Хомяковым, послание к которому написано по-русски, Чаадаева связывали тесные приятельские отношения, несмотря на идейные расхождения. Об их спорах в атмосфере дружеского согласия не раз рассказывали современники, упоминая о постоянно сидящих «рядышком», выделяющихся в обществе москвичах. После смерти Чаадаева Вяземский писал Шевыреву: «Москва без него и без Хомяковской бороды как без двух родинок, которые придавали особое выражение лицу ее».

135

Речь идет о статье Хомякова «Царь Федор Иоаннович», напечатанной в 1844 г. в первой книге «Библиотеки для воспитания».

136

...преступное чело царя... – Ивана Грозного.

137

Речь идет о защите магистерской диссертации Ю.Ф. Самарина «Феофан Прокопович и Стефан Яворский как проповедники», состоявшейся в июне 1844 г.

138

Чаадаев называет так обер-прокурора синода Н.А. Протасова, который в конце 10-х гг. служил вместе с ним адъютантом у командира гвардейского корпуса И.В. Васильчикова.

139

Имеется в виду письмо Чаадаева к Шеллингу от 20 мая 1842 г.

140

В «Сочинениях и письмах П. Я. Чаадаева» это написанное по-русски послание помечено как письмо неизвестному адресату.

141

Речь идет об уже упоминавшейся защите диссертации Самарина.

142

...voilà ce qui s'appelle une exposition claire... – вот что называется ясным изложением (франц.).

143

Послание Шевыреву написано по-русски.

144

Чаадаев благодарит за пригласительный билет на публичный курс по истории русской словесности, прочитанный Шевыревым зимою 1844/45 г.

145

Граф Адольф де Сиркур живо интересовался культурной жизнью России и в 1843 г. писал в неопубликованном послании к Чаадаеву, одному из основных своих корреспондентов в Москве: «Было бы хорошо, если бы реальный, исторический и социальный характер славян был хорошо известен на Западе. У нас в ходу по этим вопросам только клеветнические романы, большей частью вдохновленные и комментируемые вашими собственными соотечественниками...» Большое значение Сиркур придавал изысканиям славянофилов, которые, замечал он, оказывают Европе большую услугу, показывая реальное величие прошлого России, где «были дни славы, поколения мучеников. Вы спасли восточную форму христианской религии, остановили кровавое течение азиатских вторжений в Европу, дали возможность восторжествовать в мире европейскому принципу над азиатским. В эпоху бесконечных социальных и интеллектуальных сложностей сохранили существование простых начал и идей, величественных в своей простоте». В письмах к Сиркуру Чаадаев высказывал свое понимание интересовавших французского корреспондента вопросов.

146

Semeur – журнал с религиозной, философской, политической и литературной тематикой, издававшийся во Франции с 1831 по 1850 г.

147

Имеется в виду проповедь московского митрополита Филарета, произнесенная им в конце 1843 г. при освящении храма в московской пересыльной тюрьме. Чаадаев, встречавшийся с Филаретом и обсуждавший с ним конфессиональные

Чаадаев П. письма [filosoff.org](http://filosoff.org)  
вопросы, перевел эту проповедь на французский язык и отправил ее в Париж,  
где с помощью А.И. Тургенева и Сиркура она была напечатана в вышеупомянутом  
журнале.

148

В комментарии автор проповеди сравнивался с Иоанном Златоустом и представал  
необыкновенным реформатором, оправдывавшим допуск преступников в храм и  
приближавшим церковную практику к истинному духу Евангелия.

149

Под молодой школой подразумевается славянофильское течение.

150

Имеется в виду упоминавшийся ранее публичный курс Шевырева.

151

...один из замечательнейших наших мыслителей... – Хомяков.

152

палингенезис (от греч. palin – снова, обратно и genesis – происхождение,  
рождение) – возрождение.

153

Сиркуры приезжали в Москву в 1844 г.

154

Bibliothèque de Geneve – швейцарский журнал по вопросам науки, литературы и  
искусства.

155

Послание А. И. Тургеневу написано по-русски.

156

Речь идет о письме Чаадаева к Сиркуру от 15 января 1845 г.

157

Имеется в виду московский митрополит Филарет.

158

Послание Киреевскому написано по-русски.

159

Дата в скобках поставлена публикатором.

160

Дата в скобках поставлена публикатором.

161

...тяжелое горе – смерть А.И. Тургенева в декабре 1845 г.

162

Речь идет о статье Хомякова «Мнения иностранцев о России», напечатанной в четвертой книге журнала «Москвитянин» за 1845 г. Автор статьи, помимо изложения своих теоретических взглядов на внешнюю и внутреннюю образованность, на подражательность мнимого и подлинность самобытного просвещения, скрыто полемизировал с упоминавшейся книгой маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».

163

Чаадаев имеет в виду идейную борьбу славянофилов и западников.

164

В «Сочинениях и письмах П.Я. Чаадаева» это послание помечено как письмо неизвестному адресату. Отношения Чаадаева с видным представителем славянофильства Ю.Ф. Самариным, которому он не стеснялся поверять и задушевные движения, и изменения в мыслях, были проникнуты взаимной симпатией и дружеским общением. «Едва ли нужно уверять вас, – благодарил впоследствии Самарин М.И. Жихарева за присланную фотографию кабинета Чаадаева, – что я ценю как нельзя более этот подарок, живо напоминающий мне почтенного и всегда радушного хозяина, общих его и моих друзей, живые беседы, живые, теперь, к несчастью, отошедшие на задний план, интересы того времени. В этом самом, так верно и отчетливо воспроизведенном кабинете, я в первый раз встретился и познакомился с А.С. Хомяковым и И.В. Киреевским».

165

В 1846 г. Чаадаев переживал тяжелый душевный кризис и расстройство физического здоровья.

166

Эти размышления характерны для неоднозначных колебаний в исторических воззрениях Чаадаева.

167

Написанное по-русски послание Вяземскому Чаадаев долго не отсылал, давая, по обыкновению, его списывать разным людям. Еще в феврале 1848 г. Вяземский не получил письма, хотя и знал о его существовании.

168

Чаадаев просил Вяземского устроить в Петербурге на службу брата молодого московского профессора К.Д. Кавелина, но тому этого сделать не удалось.

169

Речь идет о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», выход которой в начале 1847 г. возбудил общество не менее «телескопского» письма Чаадаева и вызывал разные критические замечания. Если с отдельными из этих замечаний в их частных приложениях автор философических писем и мог согласиться, то в целом он видел в необычном сочинении Гоголя определенную и близкую ему строгую иерархию, где личная боль и самоанализ обусловлены заботой об общем деле, а общее дело вытекает из высших и абсолютных представлений о бытии и судьбах человеческого рода.

170

Чаадаев имеет в виду следующие строки Гоголя в письме к цензору В.В. Львову от 20 марта 1847 г.: «Стыд этот мне нужен. Не появись моя книга, мне бы не было и вполнину известно мое душевное состояние. Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы передо мной в такой наготе: мне бы никто их не указал. Люди, с которыми я нахожусь ныне в сношениях, уверены не шутя в моем совершенстве».

171

Речь идет об известных «Письмах» Н.Ф. Павлова к Гоголю, появлявшихся в «Московских ведомостях».

172

Имеются в виду статьи Вяземского «Языков и Гоголь», напечатанные в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, вероятно, присланные Чаадаеву в виде оттиска.

173

...une bonne poignée; de main – крепкое рукопожатие (франц.).

174

Это послание, как и письмо следующего года к Тютчеву, печатается по тексту публикации Шаховского в кн.: Литературное наследство, 1935, т. 19–21. Чаадаева и Тютчева связывали приятельские отношения, о своеобразии которых так писал М.И. Жихарев: «Наиболее несогласные с Чаадаевым были с ним и наиболее дружными. Решительный противник его Ф.И. Тютчев часто говаривал о нем: „Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех“».

175

Фамилия в скобках указана публикатором.

176

Тютчев в числе первых получил один из оригинальных портретов Чаадаева и так благодарил его за это в письме от 13 апреля 1847 г.: „Наконец-то, любезный Чаадаев, в моих руках прекрасный подарок, вручаемый мне вашей дружбой. Я был польщен и тронут более, чем могу то выразить. В самом деле, я мог ждать только скромной литографии; судите же, с каким признательным удивлением я получил от вас прекрасный портрет, столь удовлетворяющий всем желаниям... Это поразительное сходство навело меня на мысль, что есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...“

177

Речь идет о статьях Вяземского „Языков и Гоголь“.

178

Полемика между Грановским и Хомяковым о времени и месте передвижения и оседлости бургиньонов и франков в эпоху переселения народов возникла в связи с появлением статьи Хомякова, служившей предисловием к изданию Д.А. Валуева „Сборник исторических и статистических сведений о России и народах, ей единовременных и единоплеменных“ (М., 1845).

179

Имеется в виду главенствующее положение Хомякова среди славянофилов.

180

Написанное по-русски послание Чаадаева является ответом на следующие строки из письма Погодина: „Москвитянин“ возобновляется и смеет ласкать себя надеждою, что вы не лишите его своего участия. Вчера не успел я передать вам убедительную просьбу – приготовить для украшения первой книги ваши воспоминания о Пушкине. Также не позволите ли вы включить ваше имя в число сотрудников при объявлении?»

181

Написанные по-русски следующие четыре послания к Погодину свидетельствуют о его достаточно коротких отношениях с Чаадаевым.

182

Петровское – загородная местность близ Москвы.

183

Речь идет о приобретениях древлехранилища Погодина.

184

Послание Шевыреву написано по-русски.

185

Речь идет о записке Тютчева «Россия и революция», составленной в связи с европейскими волнениями весной 1848 г. и напечатанной в Париже в следующем году. Чаадаев прочитал ее еще в рукописи и знакомил с ней московское общество летом 1848 г.

186

фамилия в скобках поставлена публикатором.

187

Имеется в виду упомянутая записка Тютчева, которая произвела на Чаадаева большое впечатление и вызвала у него достаточно неожиданные в сравнении с философическими письмами размышления.

188

...в лице изумительного человека... – Петра I.

189

Послание Хомякову написано по-русски.

190

...dear sir... – дорогой сэръ (англ.).

191

Речь идет о подавлении венгерской революции русскими войсками летом 1849 г.

192

Чаадаев приводит слова московского митрополита Филарета из проповеди в Успенском соборе в августе 1849 г.

193

Письмо известного мемуариста Ф.Ф. Вигеля, содержание которого дальше раскрывает Чаадаев, проникнуто язвительной иронией, идущей от их взаимной неприязни еще со времени совместного пребывания в середине 10-х гг. в масонской ложе «Соединенных друзей». После публикации первого философического письма Вигель, бывший в ту пору директором департамента иностранных исповеданий, призывал петербургского митрополита Серафима указать правительству средства «к обузданию толиких дерзостей». В 40-х гг.

Вигель часто бывал и жил в Москве, и самолюбие невольно заставляло его видеть в Чаадаеве своеобразного соперника, которого он величал «плешивым лжепророком» и над ученостью которого постоянно насмехался. «Но всего любопытнее, – замечал в своих неопубликованных воспоминаниях известный литератор М.А. Дмитриев, – было видеть его (Вигеля. – Б.Т.) вместе с Чаадаевым... Оба они хотели первенства. Но Чаадаев не показывал явно своего притязания на главенство, а Вигель дулся и томился, боясь беспрестанно второго места в мнении общества; он страдал и не мог скрыть своего страдания».

194

Чаадаев не подозревал, что «глупым шутником» был Тютчев, которому он поручил распространять в Петербурге литографии своего портрета. О судьбе одной из них сообщала в неопубликованном письме к Вяземскому жена поэта Э.Ф. Тютчева: «Хранить эти 10 картин было скучно. С другой стороны, кому их предложить? К счастью, я не знаю, кто из нас двоих вспомнил, что завтра день св. Филиппа. Знакомый нам Филипп жаждал поздравления. Тотчас же мы свернули одну из 10 литографий, сделали из нее красивый пакет и на внешней стороне мой муж написал: „Почтеннейшему имениннику Филиппу Филипповичу Вигелю:

Прими как дар любви мое изображение,  
Конечно, ты его оценишь и поймешь, –  
Припомни лишь при сем простое изречение:  
Не по-хорошу мил, а по-милу хорош“.»

195

Послание Вигелю написано по-русски.

196

Послание Погодину написано по-русски.

197

Имеется в виду одно из писем Пушкина к Чаадаеву, которое последний давал для ознакомления Погодину.

198

Речь идет о рецензии Погодина в «Москвитяине» на диссертацию П.В. Павлова «Об историческом значении царствования Бориса Годунова».

199

Послание Жуковскому написано по-русски.

200

Чаадаев имеет в виду излишне восторженную реакцию москвичей на пребывание в древней столице танцовщицы Фанни Эльслер.

201

That is the question – вот в чем вопрос (англ.).

202

Речь идет о драме К.С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году».

203

...своенравная воля великого человека... – Петра I.

204

voilà o nous en sommes – вот где мы находимся (франц.).

205

...нашей графине... – Е.П. Ростопчиной.

206

Имеется в виду статья Ростопчиной, написанная в связи с отъездом упомянутой танцовщицы и начинавшаяся такими словами: «Фанни!!.. Фанни Эльслер!!.. Очаровательная, восхитительная, невероятная, почти невозможная Фанни Эльслер!!! – вот что звучит, что отдается в каждом сердце, чем полны еще теперь умы, глаза, мечты, воспоминания всей Москвы... Фанни!.. И неужто в самом деле мы с нею простились?..»

207

Le culte du jarret – культ коленок (фр.).

208

Герцен, послание которому написано по-русски, всегда с большим почтением относился к Чаадаеву, несмотря на существенные идейные разногласия между ними. Религиозно-историческая концепция автора философических писем не удовлетворяла философский «реализм» Герцена, отмечавшего в дневнике: «Спор с Чаадаевым о католицизме и современности: при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал...»

209

Слова в скобках переведены с французского языка.

210

Послание к А.Ф. Орлову, брату покойного друга Чаадаева М.Ф. Орлова, написано по-русски. Уже будучи после смерти Бенкендорфа начальником III Отделения, А.Ф. Орлов навещал Чаадаева как своего давнего знакомого.

211

Речь идет об известной брошюре Герцена «О развитии революционных идей в России», где автор высказывает свое мнение о влиянии Чаадаева на умственное развитие русского общества. О выходе этой брошюры Чаадаев узнал впервые именно от А.Ф. Орлова, навестившего его, по обыкновению, при проезде через Москву и заметившего в разговоре с ним: «В книге из живых никто по имени не назван, кроме тебя... и Гоголя, потому, должно быть, что к вам обоим ничего прибавить и от вас обоих ничего убавить, видно, уж нельзя». Несмотря на короткие отношения с начальником III Отделения, разговор с ним, видимо, весьма озадачил Чаадаева, чем и вызвана выраженная далее его готовность опровергнуть мнение Герцена.

212

Послание Погодину написано по-русски.

213

Чаадаев высоко оценил повесть И.Т. Кокорева «Саввушка», где на судьбе портного показываются нравы и быт московской окраинной бедноты.

214

Имеется в виду Пушкин.

215

Послание Шевыреву написано по-русски.

216

В 1854 г. в «Московских ведомостях» стали периодически появляться статьи П.И. Бартенева о Пушкине, дружбой с которым Чаадаев к концу жизни все более гордился, относя ее к лучшим годам жизни, охотно показывал гостям пятно в своем кабинете, оставленное головой прислонявшегося к стене поэта, часто цитировал им строки из стихотворных посланий к себе. Отсутствие упоминания о нем в описании лицейских лет и молодости писателя вызвало раздраженное удивление Чаадаева, выраженное в настоящем послании к Шевыреву как к представителю пушкинского поколения. В связи с бартеневскими статьями Чаадаев передал послания поэта к нему другому представителю этого поколения, И.В. Киреевскому, который, возвращая стихи, заметил, что «невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к вам». Вместе с тем Киреевский упрекал своего старого идейного приятеля-противника в том, что тот сам до сих пор не оставил никаких воспоминаний о поэте. Несмотря на неточности, писал он Чаадаеву, надо быть благодарным автору статей в «Московских ведомостях» за рассказ о жизни писателя, ибо он мог и совсем не говорить о ней: «На нем не было той обязанности спасти жизнь Пушкина от забвения, какая лежит на его друзьях. И чем больше он любил их, тем принудительнее эта обязанность. Потому надеюсь, что статья Бартенева будет введением к вашей, которую ожидаю с большим нетерпением». Точно так же и Шевырев, извиняя Бартенева, который собирался говорить о Чаадаеве в последующих номерах газеты, призывал последнего передать самому всю историю его отношений с поэтом: «Вы даже обязаны это сделать, и биограф Пушкина не виноват, что вы этого не сделали, а виноваты вы же сами. Как таить такие сокровища в своей памяти и не дать об них отчета современникам?» Но то ли принудительность обязанности была не так уж сильна, то ли нечто такое, что составляло одну из многочисленных загадок существования Чаадаева, препятствовало – во всяком случае, отзываясь на просьбы и Киреевского, и Шевырева, он тем не менее так и не оставил потомкам своих воспоминаний о

Чаадаев П. письма filosoff.org  
«незабвенном друге».

217

Слова в скобках переведены с французского языка.

218

Подразумевается Английский клуб.

219

Так озаглавлен самим Чаадаевым отрывок в эпистолярной форме, сохранившийся среди бумаг Е.Н. Орловой (вдовы М.Ф. Орлова).

220

Имеется в виду обострившийся из-за происка французских дипломатов спор между православным и католическим духовенством о «святых местах» в Палестине, для разрешения которого русское правительство требовало от султана восстановления привилегий православной церкви в Палестине и подписи конвенции о покровительстве Николаем I всех православных в подданстве турецкого главы. Английское правительство подсказывало султану такое половинчатое решение вопроса, при котором не исключалась возможность разжечь русско-турецкую войну, превратить ее потом под лозунгом «защиты Турции» в коалиционную и подорвать позиции России на Ближнем Востоке и Балканах.

221

Речь идет о высадке французских войск в Крыму и о поражении русской армии на реке Альме в сентябре 1854 г. в Крымской войне (ее угроза стала реальной после разрыва в мае 1853 г. русско-турецких отношений) между Россией и коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии. В результате войны в марте 1856 г. между воюющими сторонами был заключен мир на невыгодных для России условиях. По утверждению А.И. Дельвига, «было мало людей», на которых неудачи Крымской войны действовали бы так сильно, как на Чаадаева. «События последних трех лет, – замечал мемуарист Д.Н. Свербеев, – тяготели над ним тяжким бременем. Ему, воину славной брани, подъятой за свободу отечества и освободившей Европу, – ему горьки были и начало и конец нашей последней войны».

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!